

Григорий Петрович Данилевский

Воля (Беглые воротились)



Григорий Данилевский
Воля (Беглые воротились)

«Public Domain»

1863

Данилевский Г. П.

Воля (Беглые воротились) / Г. П. Данилевский — «Public Domain», 1863

«Наступали новые времена. Разнесся слух, что крестьянам, так долго и упорно мечтавшим о свободной жизни, о разных зауральских, закавказских и новороссийских новых местах, хотят дать волю. И вот из разных мест России и из чужих краев, по-видимому без всякой причины, стали в верхние, средние и южные губернии возвращаться беглые помещичьи люди. Это было за год и несколько месяцев до издания положений о воле. Одних помещиков это радовало, другие в недоумении пожимали плечами, не понимая, откуда это взялось и что из этого будет...»

Содержание

Часть первая	5
I. Голубятня	5
II. Забытые музыканты	14
III. Генерал Рубашкин также дома	26
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Григорий Данилевский

Воля (Беглые воротились)

Часть первая

Родные гнезда

I. Голубятня

Наступали новые времена. Разнесся слух, что крестьянам, так долго и упорно мечтавшим о свободной жизни, о разных зауральских, закавказских и новороссийских новых местах, хотят дать волю.

И вот из разных мест России и из чужих краев, по-видимому без всякой причины, стали в верхние, средние и южные губернии возвращаться беглые помещичьи люди. Это было за год и несколько месяцев до издания положений о воле. Одних помещиков это радовало, другие в недоумении пожимали плечами, не понимая, откуда это взялось и что из этого будет.

Однажды весной, в конце мая, по пути в тот угол на юге за Волгой, который населился в давние времена, с одной стороны, украинскими, а с другой – русскими выходцами, шла кучка людей – два старика и шестеро молодых. Дойдя до каменистых бугров, за которыми уже начинались побережья Волги, они сделали в глухом овражке последний привал, сварили еще раз общую кашницу, закусили и готовились разойтись в разные стороны.

– Пойдем к своим господам, живы ли они? – сказал семидесятилетний седой сапожник, Гриценко, тридцать три года бывший в бродягах в Бессарабии и в Крыму. – Удивятся господа, коли живы, ей-богу!

– Возвращаться, так возвращаться! – прибавил другой старик, Шумейко, восемнадцать лет торговавший в Одессе у какого-то купца квасом по поддельному паспорту. – Шабаш, молодцы! значит пришла пора!

– А как ты, Илюшка, говоришь про мужика? – крикнул опять старый бродяга-сапожник молодому парню, который всю дорогу умудрился вести на поводу невзрачного, хотя молодого, гнедого коня. – Как ты это про мужика-то говоришь? Да брось коня! успеешь еще на него наглядеться.

Черноволосый Илюшка, рослый, кудрявый, хотя несколько мешковатый молодец лет двадцати двух, к которому относились эти слова, молча оправил дорожную котомку на гнедке, погладил его, еще раз оправил, вспрыгнул на него и сказал:

– Вам, дедушка, все смех. А у меня в голове не то... Эх! горе на вас смотреть!

– Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илько.

– Да что ж сказать? Реши: отчего мужик нынче дешев стал?

– Не знаю... – старик покатился со смеху.

– Оттого, что глуп! – ответил Илья.

Собеседники громко расхохотались, потом замолчали, разом все перекрестились, встали от еды и пошли одни направо, другие налево. «Эки места-то, места! Вольница тут жила когда-то. И теперь еще куда ни глянешь, дичь и глушь!»

Илья поехал рысцой на один из соседних, с детства знакомых ему холмов, поросший мелким лесом. Солнце село. Он привязал лошадь в кустах, взобрался на дерево, осмотрел еще раз окрестность, как будто припоминая что-то, давно виденное и забытое, и пошел с холма лощиною.

Наутро и в последующие дни некоторые соседние и дальние помещичьи дома и сельские конторы были приятно, а может быть, и неприятно изумлены возвратом нескольких беглых бродяг, из которых об иных в родных селах даже исчезла всякая память. Там явились, как с того света, тридцать лет бывший в бродягах Антошка Крамар, кузнец и восемь лет пропадавший без вести повар, Михей Пунька. Явились, бывшие в далеких прогулках, лакеи, плотники, столяры, кучера, ключники, кондитеры и писаря. Иных господа и свои братья, дворовые, стали с горячим любопытством, хоть и ласково, допрашивать: «Где были, у кого служили, чем кормились в это время, что делали?» Но на все был один ответ: «Где были, не помним; у кого служили, не знаем; а жили и кормились, где день, а где ночь – и сутки прочь». – «Что же вы так это вот, с одного маху, взяли да и воротились?» – продолжали допрашивать свободных еще вчера пташек, от которых, так сказать, еще воздухом пахло, ручные по-прежнему, домашние птицы разных клеток тихого русского юго-востока. «Надо же когда-нибудь и честь знать!» – лукаво отвечали прилетные, добровольно воротившиеся пташки.

Новизна переставала быть новизной. Все начинало идти по-старому. Молчаливая барщина одна как бы заметно обновлялась: она насчитывала новых постоянных рабочих.

Илья Танцур между тем, привязав в лесу коня, выломал себе палку и, спустившись в лощину, долго шел чуть видною в сумерках тропинкою. Стало еще темнее. Илья начинал спотыкаться о кочки, о хворост, положенный в виде гатей по болотным перемычкам луговой дороги. Кое-где он разувался и бранился про себя за остановки, потому что стемнело еще более, а он торопился. В воздухе было тихо и мягко. Точно теплым вином пахло. От запаха болотных трав, березовых листьев и фиалок голова хмелела. Илья остановился.

– Волга не Волга, бог весть, что такое белеет вправо! Ах ты, башка моя, глупая башка! В двенадцать лет перезабыть все так, что оглянешься и не узнаешь!

Впереди послышался отдаленный переливистый лай.

– Так и есть, наша Есауловка!

Сердце крепко забилося в груди парня. Он удвоил шаги, пошел еще смелее и, спустя несколько времени, почувствовал, что местность вокруг него изменилась. Впереди чернел будто лес, слева стоял точно ряд мельниц. Он с наслаждением расслышал впотьмах людской говор, отозвавшийся уже недалеко. «Нет, пережду, пока люди уснут! Так-то легче будет к родителям явиться!»

Танцур еще послушал, переждал, огляделся и пошел к деревьям, при мысли: «А! двенадцать лет дома не был! Жив ли батюшка, жива ли матушка? Много ли ребятишек-сверстников в живых осталось на селе? И чем теперь батюшка состоит, в рядовых ли мужиках, или при должности какой? Да и что самое село теперь стало, пока я по свету с ветром маялся да гулял? Ребенком убежал от розог немца-приказчика; никто не защитил меня тогда; отца все голопятым звали; он сам, помню, лямку тер пастухом за овцами; мать все хворая лежала. А теперь я вон какой вытянулся; узнают ли родители меня теперь? Ах ты, свет-свет! Господи!» Илья шагал и шагал...

На пути впотьмах встретилась канава. Илья попробовал ее глубину палкою, перелез, очутился опять в густых деревьях и залег под кустом, потому что невдалеке послышались ему опять отголоски людского говора, а он не знал, куда забрел.

Тихая весенняя ночь перекликалась отрывистыми, шепотливыми и неясными звуками. Вскоре, однако, кругом будто стало виднее, хотя небо было еще без месяца. Тихо лежал в кустах Илья, боясь и кашлянуть. Вдруг ему почудились невдалеке, между деревьями, чье-то всхлипыванье, плач и вздохи. Чей-то жалобный голос то затихал, то опять раздавался. Танцур повернулся к той стороне, тихо прополз между деревьями и кустами и поднял кверху голову. Ему почудилось, что вздохи и шепот раздаются где-то вверху, точно над деревьями. Страшно стало Илье: «Что за притча, не то птица стонет по-человечьему, не то человек на

ветках где-то сидит!» Он встал и, тихо, как ночной зверь, ступая, обошел вокруг дерева, сверху которого раздавались, по его мнению, в потемках стоны, и вместо живого дерева ощупал гладкий столб. Отошел в сторону, присмотрелся: голубятня, в виде домика, на плотной высокой подпоре. Голос затих.

– Кто тут? – решился спросить вполголоса Илья, осматривая воздушный голубиный терем, с крошечными оконцами, чуть рисовавшийся на сумрачном небе.

Ответа не было.

– Кто тут? отзовись! не бойся!

Танцур прислушивался.

– Я... – прошептал пугливый голосок.

– Да кто ты?

– Фрося...

– Какая?

– Барынина... горничная Фрося...

– Где же это ты сидишь?

Голос опять затих.

– Сидишь где ты? Ну? да говори же!

Илья смотрел вверх.

– В голубятне заперта... А вы кто, позвольте спросить?

– Я-то?

– Да.

– Я так... посторонний.

– Дядюшка, голубчик! освободите меня. А не то, рассветет – пропала я и бедная моя головушка.

Из окошечек воздушной голубятни опять слышались горькие стоны, плач и вздохи.

– Да как освободить-то тебя, чем?

– Лестницы поищите поблизости тут или поодаль; она здесь где-нибудь в саду, ищите.

«Так мы в саду. Что за диковина! Чей же это сад? Наш был не в этой стороне», – подумал Танцур, бросился искать впотьмах лестницу и скоро нашел. Он приставил ее к столбу, взлез туда, посоветовался с необыкновенной пленницей, как поступить, сломал палкой задвижку небольшой дверцы, в которую деревенские повара весной лазят грабить детей воздушного домика, и снес оттуда на руках дрожавшую от страха, стыда и отчаяния молоденькую горничную.

Она отбежала к садовой канаве, быстро оправилась, хотела бежать далее и остановилась.

– Кто вы? – спросила она, – за кого бога молить? Говорите скорее!

Илья подошел и взял ее за руку.

– Зачем вам? Лучше вы сами скажите, кто вы и что за невидаль такая тут случилась с вами?

Девушка потупилась, стала вертеть по земле ногою.

– Надо к барыне-с... Я горничная здесь, коли знаете нашу барыню. Нас много у нее. Поляк-управляющий давно к нам, видите, подбивается. А мы плевать на него. Он и пойдти дозором. Я тут в сад выходила иной раз... не к нему... а к знакомому такому другому человеку... Он нежного, можно сказать, сердца и совсем не такой вовсе подлой души... Выбежала я и сегодня, будто в прачешную... А поляк и наткнулся на нас. Этот-то мой душенька, значит знакомый, убежал от стыда да от страху, а поляк меня, оторопелую дуру, ухватил с дозорными, да и запер тут до утра в голубятню. «Утром, говорит, узнаем, кто такая тут из девичьей со всякою сволочью, с музыкантами соседскими дружбу водит; а теперь не хочу барыни, говорит, будить!» Так и сволокли меня сюда и толкнули в будку... Индо руки все

изломали, платье оборвали... Голубей сонных всех спугнули, и долго они, горемычные, кругом меня в тьме-тьмущей этой летали, крыльями мне в лицо веяли... Стала я плакать; хотела крик ко двору подать, пусть бы хоть и барыня уж узнала; страшно так это мне впотьмах стало, как все голуби-то прочь разлетелись... Я плакать... а тут и вы отозвались... Скажите, кто вы?

– Нет, прежде уж вы мне оповестите: какое это село? Что теперь, барыня у вас, а не барин? Есауловка? – спросил Илья.

– Нет, не Есауловка, а Конский Сырт... Наша барыня – арендаторша!

«Так я не туда попал, – вот что!» – подумал Танцур. Месяц готовился в это время выйти. Кругом стало еще светлее. Илья разглядел миловидное личико, плотно подвязанные вокруг головы косы, белую косынку и полные плечи освобожденной пленницы.

– Мой знакомый, можно сказать, благородный и не такой подлой души человек, как наш приказчик! – сказала Фрося, не двигаясь с места и щипля руками концы косынки, – он по гроб жизни и света не забудет вам этой услуги-с. Но можно ли узнать опять-таки ваше имя?

Фрося подняла глаза и хоть искоса старалась заглянуть в лицо своего освободителя.

– Мне благодарности вашей не надо. А вас бы высекли? скажите мне!

– Ну высесть не высекли бы; а сраму такого набралась бы, что хоть в воду да и утопиться. Так можно ли, опять узнать, как вас зовут?

– Ильей... а по прозвищу – не знаю и сам, как сказать. Жив ли еще отец мой, про то верно не знаю и не ведаю тоже.

– Вы из Есауловки?

– Оттуда; только двенадцать лет дома не был... Я сын Романа Танцура, коли знаете; он за овцами барскими у нас ходил, помню, как я от управителя с армянами бежал.

– Вам Роман Антоныч папенька-с? – быстро спросила Фрося, и в голосе ее зазвучало столько удовольствия и вместе желания чем-то особенно радостным удивить слушателя. – Так вы ничего не знаете? Дорогою по соседству ничего не слышали?

– Ничего не слышал и не знаю, мы торопились и прятались от всех.

– Так, так; теперь помню... Про сына его... про вас точно люди сказывали, да и он сам часто жалел об вас; даже по людям вас долго разыскивали.

– Так что же? говорите!

– Как же! ведь ваш отец теперь главным приказчиком над всею Есауловкою! Да, и живет в самом барском доме, под низом; а барин ваш все за границей. Как же, мы это знаем! князь десять лет дома не был. Наехал раз, сменил немца, поставил вашего отца, уехал, да с тех пор и нет его... Теперь пора мне в девичью; все спят; прощайте! Извините...

– Как же я в наше-то село дойду? Темно: до утра бродить буду...

– Я бы вас свела, Илья Романыч, да надо в дом заранее в девичью воротиться... А впрочем, так и быть, пойдемте... Ступайте, только бережнее, тут будет опять канава, а дальше мостик через Лихой. Это у нас речка.

– Так это мы за Лихим?

– Точно-с, эта река в Волгу тут, если помните, подале упала и разделяет Сырт от вашей Есауловки. Мы дружка против дружки живем с вами-с...

– Теперь помню, помню: мы на горе, а вы на долине.

– Так точно! Вот и не ошиблись, именно-с...

– Кто же ваша барыня?

– Ох... сердитая наша барыня, Палагея Андреевна Перебоченская, если еще в те поры вы слышали! Она, должно быть, дончиха. Одни говорят, что хутор, где мы живем, ее имение; а другие, что не ее, а чужое, арендное. Только сказать вам, наша барыня так тут крепко сидит, что в ином и своем так не обживешься. Ох... все ее здесь боятся! Да! Забыла-с еще... С вашим отцом они очень хороши-с... Роман Антонович, ваш отец, у Палагеи Андреевны в

силе, завсегда обо всем говорит и нам часто беды наши у нее вымаливает. Да позвольте еще: он дома теперь или нет? Что я это забыла! Дома, или за скотом опять в Черномор поехал? Нет – дома, дома: вчера за сахаром к нам мальчишку своего конторского, Власика, присылал. Он приказчиком теперь у вас, а сперва только за гуртами ездил. Наша барыня тоже гурты держит, на лугах наших их нагуливает. И сама даже в поле скот осматривать на дрожках ездит, даром что старуха. Ах, да! еще скажу вам... Нет!.. лучше после. Мы уж и пришли в вашу Есауловку, – а вот и ваш двор. Видите, дворец-то какой у вашего князя-барина! сам большущий... Я вас славно провела. А теперь и домой мне пора. Прощайте-с! Вон светится внизу окно вашего отца. До свидания-с... По гроб жизни, можно сказать, мой знакомый вам не забудет этого.

Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмах. Илья остановился у порога барской конторы, теперешнего отцовского жилища. Чего только не переиспытал он в эти минуты! Чего только не было теперь на душе его!

«Батюшка в приказчики попал! – думал Илья, стоя у входа под низ дома. – Вот не ждал! Из скотников, из пастухов, из голопятых, как его звали, в приказчики такого села! Тысяча душ, почитай, будет; помню. Шапку, бывало, за версту снимал он, как подходил к барскому дому, а теперь сам тут живет. Жива ли матушка? Я у этой щебетуньи и не спросил. Ну, как-то отец теперь с людьми водится? Ведь он, почитай, сам тогда мне посоветовал в бегах быть, как я на посылках тут день-деньской у немца маялся, на пинках рос, тычками да слезами сыт ходил и на липке в саду с горя два раза даже повеситься хотел перед тем, как армяне в Крым сманили меня. Приказчик! Не очень же он обрадуется и коню, которого я было ему на хозяйство добыл и привязал пока в лесу!»

Он сошел в коридорчик нижнего яруса дома и стал, замирая от волнения, у дверей. Долго он не решался взяться за скобку, оправил красный пояс на новых шароварах, обдернул синюю чуйку, потоптался на месте высокими новыми сапогами, снял в потемках шапку, пригладил черные кудри, крякнул и хотел войти, но опять остановился.

«Как-то отец теперь примет меня? – подумал Илья, все еще стоя в потемках. – Куда повернет меня? Думал, что отец в бедности... Эх!»

Дверь с шумом растворилась из конторы, а на порог выткнулся рослый, плотный, широколицый и смуглый человек, род мещанина, в нанковом кафтане и в картузе. Он, очевидно, хотел куда-то идти, но, наткнувшись на незнакомого впотьмах, торопливо отшатнулся, взял со стола свечку и спросил:

– Кто это? Что ты тут за человек стоишь впотьмах?

Илья не сразу узнал располневшего отца и тихо, молча ступил в комнату, где худощавая пожилая женщина в ситцевом нарядном платье, спиной к дверям, снимала со стола ужин. Найдя глазами образа, Илья с чувством перекрестился, пока приказчик с удивлением его рассматривал, держа свечу в руках, и упал в ноги отцу.

– Батюшка, не обидьте, благословите меня! Я ваш Илько!

– Илья, Ильюша! – крикнула женщина, убиравшая со стола. Она быстро обернулась и, уроня на лавку поднос с посудой, кинулась сыну на шею.

– Илько! – проговорил, в свой черед тронутый и пораженный неожиданностью, приказчик, торопливо ставя свечку на стол. – Вот не ожидал дорогого гостя! А я в обход было шел посмотреть, все ли сторожа на местах! Господи... вот гость! – Роман дрожащими руками снял с гвоздя икону, благословил ею сына, дал ему ее, а потом свою руку поцеловать и заключил: – Ну, полно, жена, выть над ним да обнимать его, теперь пришел, так уж насмотришься, налюбуйешься им! А лучше давай-ка ему поесть; верно, голоден с далекой дорожки. Вздуй огня в печи, яичницу, что ли, ему изготуь, пока мы о деле потолкуем.

Седая Ивановна, утирая радостные слезы, встала, опять кинулась к сыну, посмотрела на него, сняла с него пояс, чуйку, заплакала и тут же засмеялась, качая головою.

– Так, так, Илько; хорошо, что ты воротился. Ей-богу, хорошо! А я-то уж считал, что ты пропал навеки: панихиды по тебе служить собирался, да твоя мать вон все останавливала, говорит: еще подожди, сердце чует – жив Илько. А сколько будет лет, как ты в бегах был?

– Двенадцать!..

– Точно, двенадцать, я тогда еще в рядовых, кажется, был. Да... теперь уже десять лет в приказчиках состою. Всем селом заправляю. Ты, верно, слышал, Илько?

– Слышал, – отвечал Илья, рассматривая смуглые, будто из меди вылитые, черты отцовского лица, его черные густые брови, карие глаза и черные с проседью, под гребенку стриженные волосы, курчавые, как и у Ильи.

Рослый широкоплечий стан отца был по-прежнему прям и крепок, только стал сильно полнее с той поры, как он с длинною палкою перестал ходить за скотом и, в потертой сермяге стоя в поле, жаловаться на судьбу одному перелетному ветру.

– Много воды утекло с тех пор, как ты в бродяги пошел, Илько... Да наехал барин после тебя. А тут немца сместили, меня наставили. Ну да о том после... Пожалел я тогда, что тебе сам же совет дал и что ты утек. Через разных бродяг о тебе разведки делал, в полицию явки давал. Хорошо, что ты воротился. А было бы еще лучше, кабы воротился прежде. Нужен ты мне был тогда, да и теперь еще более, пожалуй, будешь нужен. Ведь ты грамотный, кажется?

– Выучил тогда пьяный немец... Помните, как бил? Струны проволочные в розги ввязывал. Укусом после кропил...

– Так, так. Да давай же, жена, гостю дорогому поесть скорее! А не выпьем ли мы на радости, Илько, водочки? Пьешь?

– Нет, не пью.

– Ну, так я выпью!

У Ильи в голове все мелькал между тем припасенный отцу на хозяйство конек. Как ничтожен теперь казался ему этот его заветный подарок!

– Ну, а что же ты нажил, сын, на воле-то, столько лет маявшись вдали от отца и матери? – спросил шутливо Роман, стоя у дверей.

– Я-то?

– Да; за двенадцать лет люди сотни, тысячи, умеючи, наживают!

Илья глаз не поднимал. Роман самодовольно посматривал на своего забулдыгу, блудного сына, не обращая внимания на мучительный, болезненно любящий и жалобный взор матери, устремленный на Илью из-за пылающей печки.

– Что греха таить, – сказал Илья, – как стал я подрастать у людей на воле, переходя с места на место да свою неволю былую скрывая, были заработки, были и деньги хорошие. Только рубль-то везде один: больше целкового не ходит. Как нажил, так и прожил – все одно, что и в здешних ваших местах. Были случаи, что и полиции надо было дарить и от своих братьев-душегубов откупаться. Дважды ловили меня, по этапу из города в город пересылали. Тут-то мозолей поношено, тут-то холоду да голоду испытано, вшей да комаров покормлено собою! А господь дал, после опять стал на воле жить, значит, я наживал, я же и проживал. Известное дело, чужая сторонка; как своей-то настоящей, собственной, значит, норки нет, куда и зверек лишний колос на запас тащит...

– Так ты, выходит, теперь к норке родной и направил путь? Дело! Чем же ты теперь желал бы тут быть у барина на селе? Отвечай по душе. Я теперь тут главный: что решу, тому и быть. Говори!..

Илья взглянул на мать.

– Вы, точно, главный тут! – сказал Илья отцу, – вам такая и дорога. А мне, когда милость ваша и вы дадите бродяге тут жить, позвольте... к обществу стать. Землю мне нарежьте; на хозяйство к плугу поставьте меня...

Роман задумался, вышел за дверь. Ивановна кинулась к двери, заперла ее опять на крючок, поцеловала несколько раз сына, посадила его за стол, поставила ему остатки ужина, свежую яичницу, обняла его горячо и оглянулась опять по комнате.

– Ты, сынку, не перечь отцу. Он тебе счастья желает. Должно быть, он тебе ключи сдать затеял; он давно ищет верного себе ключника.

– Эх, матушка, все это так, да земля-то крепче; с земли не сгонишь, а от места могут отказать и будешь бобылем. Какие я места имел! А все своя земля к себе тянет! Срубишь этак избенку, заведешься всем... Ну, да мне же это и особо еще нужно...

– Зачем?

Старуха пристально посмотрела в глаза сыну. Он оставил ложку, утерся, перекрестился на иконы, поклонился матери и сел опять.

– Матушка, я нашел себе суженую.

Старуха радостно перекрестилась.

– Слава тебе, господи! Где же ты сыскал ее?

– Слыхала, матушка, про Талаверку?

– Про какого?

– Про Афанасия, что бежал тут по соседству от какой-то барыни двадцать четыре года назад? Он в столярах у нее был тут, в каретниках и в ее хуторе проживал.

– Ох, не помню что-то, сынку, не помню. Так что же?

– Столкнулся я с ним два года назад, в Ростове-на-Дону... Он там уже богачом живет: дом свой, своя мастерская. Ну, и есть у него дочка... Настя... Мы полюбились с нею, отцу сказали. А он и говорит: «Из рассказов твоих, Илько, вижу я, что ты из одних мест со мною; барыни моей ты знать не можешь: мал был, как бежал с Волги сюда в низовые края. И я, говорит, не знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вот что. Хоть богат я, говорит, теперь, хоть волен, а помереть хотелось бы на родной стороне. Теперь, говорит, готовится всем воля; скоро, не скоро ли, слышно, всем землю дадут, кто по своей воле воротится домой в общества свои к нынешним пока господам. Я мастерства кинуть не могу, а ты иди, получи на своем месте землю, запишись в мир, дай знать, что пристроился, тогда приходи и бери себе Настю...» На этом зарок мы и расстались. Я дал слово землю себе на родном селе добыть, а он выдать за меня Настю; так как же мне идти в дворовые? Подумайте!..

Ивановна задумалась.

Поговорили еще немного. Илья разделся. Мать постлала ему постель на своей кровати у печи. Ложась спать, Илья увидел под скамьей в углу какой-то клубочек. Кто-то во весь нос сопел, свернувшись на полу котенком.

– Кто это? – спросил Илья.

– На посылках у отца сиротка тоже тут один, Власик!

Илья со вздохом лег. «Вот у отца теперь на посылках есть такой же, как я был когда-то у немца!» – подумал он.

Ивановна погасила свечку и тоже легла, вздыхая, на печи. Вскоре пришел с дозора Роман Антоныч; не зажигая свечки и не раздеваясь, лег на лавке у стола и долго лежал, не шелохнувшись, но видно было, что он не спал. Илье же всю ночь грезилась вольные степи, таинственные перебродки по лесам и оврагам, гнетко, привязанный в лесу, надежды завестись своим домком и Настя. За час или два до рассвета Илья встал, тихо оделся, тихо отпер двери и вышел. Предутренний воздух был свеж.

«Надежда плохая, – подумал Илья, – теперь вряд ли получишь землю от отца! Или опять уйти на все четыре стороны? всем ветрам в пояс поклониться? Нет, будь, что будет!»

Он вышел на тропинку, по которой провела его с вечера Фрося, взобрался на знакомый с детства соседний бугор и увидел с него сквозь начинавшие яснеть сумерки не в дальнем

расстоянии лесок, где привязал гнедка. Роща была оттуда не более как в трех верстах. Он быстро направился туда, вошел в кусты. Овраг был недалеко.

«Ну, гнедко, – подумал Илья, – иди теперь со мной; придется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отец держать тебя не позволит! А я-то думал домком завестись, сад затеять, за Настей поехать на тебе!»

Илья стал звать гнедка, искать его; но след гнедка простыл. Конец ремня от уздечки висел, привязанный к дереву. Гнедко либо убежал, либо кто-нибудь его украл.

«Последнее добро и то пропало! – сказал Илья с досадою. – Пропадай же и ты теперь, моя волюшка»...

Он еще побродил по роще, звал коня, обошел весь лесок кругом, вышел на опушку, на другой высокий бугор, сел, уткнувшись головою в колени, и долго так просидел. Когда он очнулся, светлая картина родимых окрестностей и подступавшего утра тихо открылась перед ним.

Кругом шли то зеленые, пологие, то каменистые, лесами испещренные холмы. Влево расстилалась низменная, влажная луговая равнина, на которой из сумерек выходила усадьба Фросиной барыни. Конский Сырт. Прямо, отделяясь от этой низменности рекой Лихим, на крутом косогоре расстилалась Есауловка. Вправо от Есауловки и Конского Сырта, провожая извивы Лихого к его устью, шли сперва малые, потом более объемистые бугры, то горбатые, то плосковерхие, то остроголовые и изборозжденные дождевыми протоками. В расщелине их в одном месте мелькнула широкая, белая туманная полоса, точно дым... Сердце Ильи дрогнуло. То была Волга... А за нею уже начала заниматься заря. Одевались огнями голубые вершины. Вместо темных пятен и щелей на холмах выяснялись леса. Между ними в отдалении узнавались кое-где вразмет кинутые поселки, бог весть откуда и когда тут севшая жильями, всякая набродная и переходная вольница. Сизая тяжелая туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала на окрестности довольно света. Все еще тонуло в сумерках; нагорные земли по сю сторону Волги и гладкая привольная ширь ее луговой стороны, с ее жирными, тучными и хлебородными залежами и целинами. Тронулся ветер... Отозвались ближние и дальние лесистые овраги и горы, так знакомые Илье, с их местными поволжскими прозвищами. Застонал любовными призывами Иволгин орешник; застукал наполненный шорохами и всякой таинственной, весеннею тревогой развесистый Дятловый липняк; зазвенели серебряными трубами низменные темные Соловьиные верболозы; зазвучали золотою дудкой песчаные Кукушкины кучугуры, засвистели кудрявые Дроздовые березняки, заклепали старые дуплистые громадные дубы на Орлиных лысинах соседних гор. Солнце выбилось, наконец, из-под тучи. Илья встал, прошел несколько шагов и опять остановился. Влево, вдали над Волгой, обрисовался новый ряд бугров. А по ним мелькали, уже будто сквозные и голубые от воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стеньки Разина. «На них Степан Тимофеич последний свой опочив держал, – говорили в народе, – он тут последним станом стоял; а как его в плен взяли, любимого своего есаула с братией послал селом поблизости сесть; они сели, и вышла из вольной кости нынешняя княжеская Есауловка!» Илья Танцур прикрыл глаза ладонью. Один двугорбый бугор, полосатый, как бухарская тармалама, сидел, свесившись, будто бородатый старик над водою. Он прозывался Емелькиными ушами, или ушами Пугача. На них Пугач двух воеводских дозорщиков повесил. С той поры, точно слушающая что, торчали эти горбы, Емелькины уши. А еще далее шли отвесные и дикие Авдулины бугры, за которыми было село Авдуловка, происходившее также от каких-то вольных костей, занесенных сюда первыми украинскими и русскими колонизаторами этого края. А величавая, вечно широкая Волга голубой пеленой омывала подошвы бугров, пугливо ласкаясь к ним и отражая в себе цвета их зеленых, желтых и багровых глин, белых песков и разнообразных хрящей и слюд. Роса сверкала по травам. Дикие тюльпаны желтыми и алыми колокольчиками глядели из расселен скал, по крутым косогорам. Яркий синяк и белые пушистые

косатики заливали веселыми сплошными полосами низменные равнинки. Звонкие вскрикивания пробуждающихся птиц становились чаще и громче. Тихие прибрежные затоны и заливы Волги и Лихого еще дремали своими ивами и камышами, окутанные туманами. А уже по гладкой равнине вод мимо бугров, затонов, песчаных россыпей и степей двигались, белая парусами, вечные караваны Синего морца, Волги, всякие расшивы, беляны, мокшаны, коломненки и простые рыбацьи лодки. Над ними мелькали, отражаясь в воде, белокрылые чайки. Сонные бакланы, бабы-птицы и лебеди взлетали из-под носов наплывающих барок. Отзывались заволжские озера, окрещенные также народными именами: журавлиные, лебязьи, куличьи, гусиные, утиные и всякие. Заря занялась невиданная, роскошная. Закопошился люд во всех концах. Двинулись стада овец по буграм, гурты рогатого скота и табуны лошадей на лугах и равнинах, где сто лет назад кочевали по тихим сыртам и улусам одни калмыки да татары. А по голубым побережьям и затонам раздавались голоса знакомой трудовой и исконной песни рабочего люда обоих берегов Волги и Дона, песни, построившей по этим рекам все села и города, заводы и барские дома, церкви, монастыри, пристани и остроги, песни, которая начинается не то стоном, не то могучим вздохом: «Ох, дубинушка, охни!»

Илья Танцур взглянул еще раз назад к стороне Дона, откуда пришел, а потом на Волгу.

– Прощай, батюшка, тихий Дон Иваныч! Здравствуй, матушка Волга! Пожил я вволю на Дону, в низовой степной Украине; поживу теперь и на Волге! Были мы когда-то казаками... Чем-то теперь опять будем! Наши деды вышли сюда из Запорожья, бились тут с татарами, охраняли границы, селились вперемешку с русскими; нас подарили русскому князю, вместе с землями и пожитками. Подождем. Авось отдадут нам опять наше...

Илья посмотрел на солнце, взглянул влево на Есауловку, широко и просторно раскинувшуюся по тот бок Лихого, впадающего в Волгу, и быстро пошел к отцу. Село давно уже дымилось низенькими трубами. Обе церкви на двух его концах приветливо белели. Перейдя мост через Лихой, Илья поднялся вновь на крутой глинистый берег, к которому к реке сходили крестьянские огороды, и пошел к барскому двору, окружавшему высокий и обширный каменный дом в два яруса, с крыльцами, колоннами, бельведером, шпилем для флага и службами. Сад шел за домом, почти касаясь столетними дубами, липами и пирамидальными исполинскими тополями его островерхой, по плану Растрелли, устроенной крыши.

II. Забытые музыканты

– Раненько ты, Илько, встал! Где был? – спросил отец.

– Не спалось; размяться ходил; на новом месте, знаете...

– Я вот все твоей матери смеялся, что, смотри, опять Илько тягу дал. Садись, пей чай. Вприкуску или внакладку хочешь? У нас настоящий полурафинад. В городе берем... Пей!

– Нет, по-моему, Антоныч, тоже лучше так, как Илько наш говорит! – начала приказчица Ивановна, – в мужиках как-то проще жилося нам; я до сих пор вспоминаю нашу хату, наш огород и сад на Окнине, за слободой, где мы жили!

– Дуры вы бабы! Давай еще стакан! Много вы понимаете! Мы подначальными были всегда, так подначальными и умрем. Не выдумаем мы ничего лучшего. У барина не служить, семи гривен с рубля не украсть, и жить не стоит. А, Илько? Что скажешь?

Илья молчал.

– Право, Роман Антоныч, ты Ильку позволил бы... Ты посмотри, Илько, какие у нас чашки; вот какие писанки на них расписаны: тут птицы, а тут цветы и слова... Прочитай мне...

– Ты, сынку, вчера матери говорил про Талаверку? Так Афанасий нашелся в Ростове? Нынче утром мать мне все рассказала. Ты в дворовые не хочешь?

Илья вспыхнул.

– Ну, что же: дело, коли бродяга этот Талаверка в бегах зашиб себе копейку. Да непрочна только жизнь его, и тебе с бродягами пора перестать якшаться. Человеком стать, вон что! Я тебя человеком сделаю. У барина тебе место выпрошу... Хочешь?

Под окном приказчицкой комнаты на дворе слышались голоса. Роман Танцур встал.

– Приказные пришли за распорядком работ. Я уйду. Ты посиди, Илья, с матерью. Сегодня суббота, так ты отдохни; завтра тоже воскресенье. А послезавтра ступай на работу, пока хоть и в рядовые. Я, брат, пример держу; у меня не зевай никто!

Роман ушел.

Взъерошенный Власик стал весело убирать чашки со стола, взглянул на Илью и весело улыбнулся.

Ивановна предложила сыну вымыть голову в теплой воде и надела ему вместо ситцевой рубахи белую.

– Матушка, зачем вы отцу про Талаверку сказали? – спросил, немного погодя, Илья.

– Что ты! Да он еще передумает и даст тебе землю. Проси только у него. Ведь он теперь сила и все у него в руках. Понимаешь? сила... Наша деревня почти забыта и заброшена князем.

Роман воротился с надворья.

– Ух, умаялся. Шутка ли, тысяча душ? всем надо толк дать. Пойдем, Илько, я тебе княжеский дом покажу. Где, жена, ключи? Ты глуп был маленьким, а теперь поймешь, каков наш князь, – и я всему тут голова!

Роман снял со стены ключи и пошел с надворья к главному крыльцу роскошного дома, построенного по плану гениального итальянца. Отец и сын вошли по резной дубовой, невысокой, под лак лестнице, уставленной мраморными статуями, в светлые сени нижнего яруса, оттуда в лакейскую, увешанную охотничьими картинами и украшенную оленьими и лосьими рогами. Ключ в высокой красного дерева резной двери повернулся. И оба мужика, отец и сын, вошли в огромную залу, с штофными голубыми занавесами, с амурами, музами и цветами на расписном потолке и со старинною позолоченною мебелью. Из залы прошли в столовую, где были двое хор для музыки и певчих, а окна выходили в обширный столетний сад, с террасами, прудами, беседками и мостами. Оттуда отец и сын прошли в портрет-

ную, потом в спальню князя, а там особою внутреннею лестницею во второй ярус дома и на вышку бельведера. В портретной старик Танцур остановился и стал сыну рассказывать о роде князя. Но еще долее он стоял перед портретом князя, нынешнего обладателя Есауловки.

– Село наше было когда-то вольное, – сказал Роман Танцур, – казаками наши предки зашли сюда и тут поселились.

Илья наставил уши.

– Как же вы помещичьими стали? – спросил он.

– Э! Мало ли что бывало! Мы за проказы там всякие, видишь ли, наряду воровских долго считались. Ты, верно, слышал, что нас есаул разбойника Разина населил. Ну, так вот мы тут по Волге основали Есауловку, перестали бродить, только долго еще сами разбоем жили. А после и усмирились. Прадед теперешнего нашего князя за свои услуги бывшей царице это село в подарок получил и поехал сюда. Голь да воровство одно он тут застал. Люди, говорят, жили, как звери. Ужас кругом по окольным про наших шел. Князь-то сразу взял, да и укротил всю эту здешнюю прыть. Навез с собою, понимаешь ли, сынку, наемных перебежчиков-поляков да человек десять из запорожцев; составил себе род отряда и пошел косить да порядки новые заводить. Кнутом полсlobоды засек; виселицу над Лихим поставил, и на ней беспрестанно воры наши покачивались да ворон и сорок собою кормили. Какого-то старика, что выдавал себя за родича того-то разиновского есаула, в бочку забил, созвал село: «Вот, говорит, как я учу разбойников да бунтовщиков! Смотрите!» – да так в Волгу его и кинул. Плавал этот старик по Волге двое суток, а на третьи пастухи его на той стороне реки вынули, как его к берегу подбило, и стали ему голодному есть давать. Шатался, говорят, старик, как муха осенью, не мог все распрямиться – в бочке всего его разломало, – и отказался от хлеба. «Нет, сказал, не житье мне теперь: останусь жив – везде барин найдет». Лег на берегу Волги против нашей же земли, да тут и умер... В зале у того первого князя на стене семь плетей висело постоянно на колючках; так и держал – одну для воров, другую для ослушников, третью для потатчиков наших – комиссаров, четвертую для иных поблажчиков, и так всякому свою. Так-то, сынку, воровство наше тут покорилося. Вот его и портрет.

Илья взглянул на румяного толстого щеголя, в пудре, в орденах, в кружевных манжетах и в мушках. На золотой раме портрета Илья прочитал надпись: «Князь Адам Белоконь-Мангушко. 1758 год».

– Род нашего первого князя из-за Киева, сынку; сказывают, что гетманский род. Сын этого главного нашего князя отделал этот старый дом на новый лад и жил в свою волю. У него девка в церковь, бывало, не показывайся. Ни одной проходу не давал. Сын его, барин-то теперешний наш, с детства хилый такой вышел, все лечится; рано померла его жена, и он бездетный так и остался. Ныне он все по чужим краям живет, в Италию ему и пишу теперь. Так без роду и без племени век свой и доживает, и кому мы достанемся – не знаю. Денег ему отсюда вдоволь высылаем. Надо мною тут француз главный состоит; он при сахарном заводе в городе живет и сюда только поверять меня наезжает. Я же тут по хлебопашеству, гуртам, по винокурне и по всем работам. Так-то. Вот его портрет, Илько. Поцелуй барину ручку. Он наш благодетель.

Роман ткнул акварельное изображение седовласого пастушка в соломенной шляпе и с корзиною плодов в руке, к печально сжатым холодным губам Ильи, обтер пыль с портрета и опять поставил его на щегольском резном столике портретной.

– Да, кто-то тут будет барином, как князь теперешний помрет! – задумчиво сказал приказчик.

– В казну нас отберут, – начал Илья. – Уж слышно... опять казаками... хотят сделать всех.

Антоныч улыбнулся.

– Не верь, брат, найдутся новые господа. Уж так без господ не будем. Моли только бога за теперешнего князя. С ним мы не пропадем... А бредни о воле позабудь. Верно много глупостей в бегах наслушался! Теперь над нами господь чудо явил: из рядовых, из нищих, я сам, видишь ли, приказчиком... Старайся и ты!

Взошли на вышку. В окна бельведера во все стороны открывался нескончаемый вид полей, холмов и каменистых бугров, а далее белая полоса Волги, заслоненной несколько прибрежными высотами.

– Отсюда наш князь, как наезжает, любит смотреть на свои владения! – продолжал Роман Танцур, – и все спрашивает: «Те вон бугры мои?» – «Ваши, говорю, ваше сиятельство!» – «А вон тот лес и та даль?» – «И лес ваш и даль ваша!» Так он часто меня на первых порах спрашивал. Тут семь тысяч десятин земли княжеской... Есть над чем похлопотать, хоть князь нас почти что совсем забыл... Люди тут, как чужие всем... Да и нам, впрочем, крохи перепадают... О чем ты задумался, Илья?

– Вы, теперь точно вижу, батюшка, тут главный; дайте же и мне бога за вас молить, – на землю стать! к миру, к обществу пристроиться, своим домом обзавестись! Вы же говорите, что князь нас забыл...

Роман плюнул.

– Опять! Вижу я, что ты дурень, и больше ничего! Пойдем домой! В бегах ты ума не набрался, дураком и умрешь.

Ключи опять загремели. Роман с сыном пошел обратно. Тихо они шли снова мимо штофных голубых занавесей, зеркал и портретов, по паркетам, коврам и резным лаковым лестницам. Солнце ярко светило в разноцветные, голубые, алые и желтые стекла фигурчатых окон и наружных стекольных галерей. Внизу у выходного крыльца в сад Роман оставился и, как будто забыв вспышку на сына, опять начал:

– Князь забыл нас – так... Бог весть, когда и наезжал – так. Что же, однако, посудить, из этого? Ты ведь не мальчик, сынку, поймешь! Я был голодным батраком, правда. Даже мужики меня голопатым звали – тоже правда. Тебя немец гнал, а я защитить тебя тогда не мог. Все это так! Однако же, теперь? Знаешь ли ты, как я попал тут в приказчики? Немец, что тебя гнал и бил, замотался; князю стали мало денег высылать. Он, как тебя уж тут не было, и нагрянул, прямо из неметчины, в трех каретах явился. Приехал, таким чужаком ходит; бывало, все село на него из-за углов глядит. Уж и тогда стар он был, а все картины рисовал и село наше с разных концов снимал на бумагу красками. Тот портрет, что ты видел, он сам с себя тоже тут срисовал. Жил он у нас целое лето, скучал по дальним краям... А барыня Перебоченская, что за Лихим тут теперь живет, тогда землю на аренду сняла у своего соседа, приехала к князю и говорит: «Что вы все на немцев надеетесь, князь? Да ваш простой мужик лучше всякого немца тут управится. Вот хоть бы ваш Роман Танцур, что за овцами у вас ходил и два раза у вас в Черноморье ездил за скотом. Посадите хоть его в приказчики; в год, в два он привыкнет и всех этих, клянусь вам, иностранцев ваших за пояс заткнет!» Засмеялся князь: «А что же, говорит, сударыня, попробуем! у вас, быть может, верный хозяйский глаз! Позвать, говорит, Романка!» Меня и позвали. Вхожу я, а они оба сидят: барыня чулочек тут же вяжет запросто, а он на треножнике по холсту красавицу какую-то рисует. Стали они меня расспрашивать да тут же меня для пробы на год, под надзором барыни этой, и определили. Доходы князя я удвоил сразу; не забываю я с той поры за барыню, за Палагею Андреевну Перебоченскую, бога молить. Вот послужи так-то, Илья, и ты нашему барину, и тебе будет хорошо! Любишь ходить за садом? Учился где-нибудь?

– Учился в Крыму и в Бессарабии.

– Вот тебе бы на первое время и дело, а там в конторщики, мне помогал бы книги вести, счета... Беда мне с вашим братом беглым, велено вас принимать. А какие бывают из вас? Вот почти весь наш оркестр музыки был в бегах и воротился. Буян на буяне. Ты бы их

остерегался. Того и гляди – все в острог пойдут; ты вот хоть просишься к плугу, на землю, а они ничего не хотят делать!

Отец с сыном пошли в сад. Запустелые развесистые аллеи пахли черемухами и тополями. Кусты жимолости и рай-деревя были в цвету. За прудом отзывалась иволга, соловьи перекликались. Прошли мимо шпалер вынутых из-под зимней крыши виноградных лоз.

– Это бы дело поправить надо было также. Наш француз требует, чтоб виноград мы поддерживали, а ходить за ним некому! Поработай, пожалуй, пока со всеми мужиками, Илько, а там тебя и к саду можно наставить. Тут в садовничьей хатке и жить тогда себе можешь, коли ищешь от нас сесть особняком. Кстати же, садовник был тут нанятой, да от нас недавно отошел...

На душе у Ильи отлегло; он просветлел. Роман подозрительно вдруг взглянул на него.

– А все-таки лучше бы ты мне, Илько, сразу под руку пошел – в конторщики; счета бы вместе сводили. Я неграмотный, а ты грамоте знаешь... Я бы уж тебе тогда все бы предоставил. А то чужие все, видишь ли, ненадежные... Тогда о Талаверкиной дочке, что ли, мы бы с тобой подумали.

Весь день, в субботу, до вечера Илья действительно бродил по селу, заговаривая с былыми сверстниками и присматриваясь к разным лицам, но почти не узнавая никого. Отыскал двух-трех из бывших своих деревенских приятелей, теперь уже бородатых и заматерелых мужиков, давно женатых и наделенных кучею детей. Походил он опять по саду, побродил возле опустелой после зимы барской винокурни в конце села, оттуда слышалась музыка, скрипки, кларнеты и даже барабан! там обучался оркестр; видел издали Илья выход на громадный хлебный ток, так называемой барщины, толпы работников и работниц с очередной половины села. Под вечер он разыскал место бывшего двора и хаты отца, куда он, во время оно, забитым и голодным ребенком бегал с господского двора. Он нашел это место на Окнине, на окраине небольшой луговины, у глухого конца села. Окниной она называлась от просветов на земле множества студеных ключей, бивших сквозь траву у скатов того самого косогора, по которому было раскинуто село и где стоял особняком господский двор и сад. Вода здесь была необыкновенно холодна, чиста, вкусна и полезна для растительности. Стаи птиц постоянно роились над бархатною, густою и ярко зеленою луговины, – водились в ней и всякими стопами и криками наполняли здесь свежий воздух. «Эх, батюшка! вот бы где нам гнездо постоянное свить, на старом-то бы месте, а не под барским домом!» – подумал Илья, рассматривая бывшее свое пепелище, где торчала только груда кирпичей бывшей печки, валялось несколько черепков да росли три-четыре обломанные, а некогда развесистые вербы.

Окнина была сейчас за канавой сада, с той стороны, где в саду начиналась уже дичь и глушь и где росли одни ольхи да лозы, вечно полные стаями крикливых ворон и задорных кобчиков.

Поздно пришел Илья в отцовское помещение. Конторский чай он пропустил и едва захватил самый ужин. К старику Роману приходили опять озабоченные лица за приказом. Видно было, что приказчик строго вел себя с подчиненными. «И где отец этой важности набрался? Каков! Точно судья какой или заседатель!» – думал Илья. Мать скоро легла спать. Роман ушел в комнату, соседнюю с тою, где жил, и долго сидел там один, вздыхая и тихо пощелкивая костяшками счетов. Власик, набегавшись за день, как упал в свой тулупчик у печки, так там и заснул. Скоро заснул и Илья.

На другой день Илья проснулся рано. Это было воскресенье. Отец ушел в церковь; матери тоже не было. Власик чистил какой-то таз, пыхтел и возился, опять весь взъерошенный, веселый и проворный, как мышонок.

– Дядя Илья! вас там в саду, возле мостка, человек один дожидает! – сказал Власик, шевеля большими сквозными ушами, подмигивая и добродушно посмеиваясь.

– Кто такой?

– Не знаю! – Власик смеялся и оттого, что в конторе было новое лицо, и оттого, что на дворе было светло и его манило самого туда.

Илья умылся, оделся и вышел в сад. В конце кленовой дороги прогуливался худощавый человек в пальто и в картузе, держа одну руку в кармане, а другую – за лацканом. Подойдя к нему, Илья не знал, снимать ли перед ним шапку или нет.

– Илья Романыч? – спросил тот.

– Точно так-с...

– Кирюшка-с! Я первая флейта в тутошнем оркестре-с!.. Вашу руку!.. Я Кирюшка Безуглый. Позвольте мне-с от всего усердия взять вас за руку и поблагодарить-с!

– За что же? Я не знаю вовсе вас...

– Вы спаситель моей Фроси... Как же-с! Из голубятника, от этого поляка кровопийцы-с... Я все знаю и по гроб моей жизни этого не забуду-с; нет, нет-с, я вас обниму и того во веки веков не забуду!

Кирилло крепко обнял Илью. Серые, ленивые и тусклые его глаза глядели добродушно, ласково.

– Вы, Илья Романыч, можно сказать, спасли от сущей гибели и посрамления меня и Фросю. Не освободи вы ее, утром бы ей барыня косу отрезала-с, это бесприменно! А не то послала бы в стан... Нас, так сказать, этот обход застал на месте... Помня ее девичий стыд и честь, я кинулся бежать – не от трусости, но чтоб ее спасти. Мне что? А теперь все спасено, и утром, на переборке, девушки сами Фроси не выдали.

– Ах, братец, я сам не думал, – возразил Илья, польщенный такими благодарностями господина, одетого в пальто.

– Нет! Уж вы меня извините, а я привел сюда и моего друга, Саввушку-с, тоже нашего музыканта. Мы из здешнего оркестра. Савка, а Савка! Саввушка! Выходи сюда!

Из кустов цветущего древесного жасмина поднялся другой, еще более сухощавый и чахлый человек, тоже в пальто и в фуражке. Этот был на вид совершенно чахоточный. Бледные впалые его щеки и мертвенно тусклые глаза резко оттенялись черными густыми бровями и маленькими шелковистыми усиками.

– Саввушка, благодари их. Вот Илья Романыч спас мою Фросю. Кланяйся, да ну же, кланяйся! Этого вовеки я не забуду.

Саввушка и Кирилло снова поклонились Илье.

– Ах, братцы! да что вы! Да я сам...

– Нет, нет! И не смейте вспоминать и беспокоиться. Мы ваши слуги отныне. Папироски курите?

– Нет... курил, да бросил.

– Ну, мы сами покурим. Позволяете?

– Ах, помилуйте. Почему ж?

– Мы отойдем сюда к сторонке, к канавам-то. Понимаете? Чтоб из дому не было видно – от вашего батюшки-с...

Новые знакомцы отошли к концу сада, к вербам. Кирилло достал из-за пазухи потертую сигарочницу. Он вообще вел себя развязно, к Саввушке относился шутя, а к новому приятелю весьма дружелюбно. На обеих руках его были перстни. Саввушка шел молча, тоскливо вздыхая и грустно посматривая по сторонам.

– Вы с отцом своим как? – спросил Кирилло, с важностью умелого закуривая сделанную им самим папироску.

– А что?

– Слышали мы, что вы теперь с воли... Значит, свету-то и делов всяких насмотрелись. Так как же вы с вашим отцом? Какого вы, то есть, о нем теперь понятия стали?

– Еще мало разглядел, братцы.

– А, мало! Слышишь, Саввушка? Савка, слышишь?

Кирилло подмигнул с невыразимым, торжествующим взглядом. Саввушка на него искоса взглянул, как бы сказавши: «Что и говорить! беда, да и баста!»

– Мошенник, пресущая бестия ваш батюшка! – сказал Кирилло, мигнувши Илье, – коли еще не узнали, так знайте!

Илья покраснел.

– Это такая выжига, что в целом, так сказать, государстве поискать! – продолжал Кирилло Безуглый. – Князь ему верит, а он людей полагает за ничто. Работы все под его началом; счета он тоже ведет. Да это, впрочем, нас не касается. А вот что: за что он нас голодом держит, музыку-то? Мы было все разбежались... да опять вот сошлись?

– Так и вы тоже, братцы, в бродягах были?

– Как же! О, как же! Мы здешний, – говорю тебе, – есауловский оркестр. У нас венгерец капельмейстер, и мы живем за мельницами, в доме старого винокуренного завода. Захотелось нашему князю музыку свою тут иметь на случай приездов, как в киевской главной его слободе. Он и отписал. Сперва итальянца прислал, а потом венгерца...

– Давно это вас набрали в музыку? Я как тут был, вас не было еще.

– Да лет семь будет. Как приучили нас по малости, соседние помещики стали разбирать на балы, на вечера; даже в город два раза к губернатору нас на выборы возили.

– И выгодное это дело, братцы?

Саввушка тяжело вздохнул и сел на канаву. Кирилло достал из сапога флейту.

– Вот я на чем играю...

Он взял несколько звуков. Тонкие, тихие переливы раздавались под ветвями нависших верб.

– Хорошо?

– Хорошо... Очень, брат, это хорошо!

– Ну, а первое время я повеситься, Илья Романыч, хотел от ефтой-то каторжной дудки, ей-богу! Так она мне была не по нутру! Взяли меня от огорода. Дали эту дудку в руки. Я приложил косточки к губам. Дую, а оно не выходит, только пыхтит в продушинки. Уж бил же меня, бил итальянец. Одначе ничего – после вышло хорошо, и я сам теперь люблю эту статью. Только не все ее одолели, вот хотя бы Саввушка! Посмотри-ка на него.

Илья взглянул на приятеля Кириллы. Тот сидел бледный, болезненный. Кирилло Безуглый нагнулся к нему.

– Савка! Плохое дело кларнет? – спросил Кирилло.

– Плохое! – глухо проговорил приятель и закашлялся.

Кирилло посвистел еще на флейте и спрятал ее за сапог.

– Теперь я хоть девочкам-то играю на забаву. И все бы ничего. Да вот кормят-то, кормят нас теперь плохо. Прежде балов было больше, итальянец заработки имел, и мы ничего экономии не стоили. А венгерцу теперь плохо пришлось. Что заработаем за зиму, то летом и проели. А тут глушь; Донщина близко. Князь-то нас затеял, да, видно, и забыл. Вон хоть Саввушка – грудь надорвал. Да и не он один. Но вы, Илья Романыч, спросите, чем Савка до музыки, значит, был.

Илья спросил Саввушку.

– Художником в Петербурге был, живописцем, – начал печально Саввушка. – Я по живописи шел; сызмальства к ней наклонность имел! Князь сам меня туда отвез еще мальчишкой.

Кирилло с ожесточением ударил картузом оземь.

– Нет, вы спросите его, как он сюда-то, в эту музыку анафемскую попался? – заметил он, обращаясь к Илье.

– Как попался? – продолжал, грустно покачивая головою, Саввушка, – была моя одна там такая картина, значит, хорошая; ее хотели ставить даже на выставку... Меня поощрили. А у меня грудь и тогда побаливала. Князь и говорит: «Хочешь домой. Савка, родных навещать, воздухом свежим подышать на вакации?» Я говорю: «Очень рад-с». Он и взял меня сюда, довез до села. А отсюда-то поехал в чужие края и не на Петербург, а на Турцию, на Одессу, – меня же не взял; да с той поры, забыл ли он, что ли, или так случилось уж на мое горе, он за границей остался, а я тут застрял безвыездно. Приставал я к приказчику да к старостам, а тут вот вашего отца наставили! Он мне в ответ одно: «Я человек неграмотный, твоих делов не знаю». Глушь тут, вы знаете, какая. Посоветоваться не с кем. Жаловаться тоже некому. Поговорил я со стариком нашим священником, – тогда еще другого молодого тут не было, – а он мне: «Покорись, господа твои лучше знают, что делают, а иконы и тут можешь расписывать, коли кто тебе закажет». Скоро после стал из мужиков тут итальянец музыку составлять; Антоныч-то, ваш отец, и приказал мне, как уж обученному грамоте, к итальянцу на кларнет стать. С той поры я тут и стою. Выучился на кларнете, да грудью вовсе плох стал... Какой я музыкант! мне бы по живописи, вот что!

Кирилло дослушал приятеля и опять ударил картузом оземь.

– Эх! терпи, Саввушка! Такова, значит, доля наша! А что, господа, не выпить ли пивца или зелененького? Как же! Без этого нельзя! Вот вас за Фросю надо пожаловать...

– Я не пью, их угостите! – сказал Илья, указывая на Саввушку.

Саввушка махнул головой и улыбнулся.

– Нет! Куда уж мне! Вы идите! Я пойду поброжу. Благо день воскресный. Завтра опять за музыку. Венгерец контракт какой-то с городом затевает и все заставляет новое разучать...

– Я не пойду завтра. Я с приятелем гуляю!..

– Художник должен в смирности жить, так учили нас в кадемии, – перебил Саввушка. – И умру, а не забуду ее! И дал бы я полруки на отсечение, чтоб посмотреть теперь на Исаакий, каков он?..

Саввушка замотал головою, повторяя: «Не забуду, вовеки не забуду!»

– Товарищ, руку! – спросил Кирилло Безуглый Илью, – идет?

– Что? – спросил Илья, подавая ему руку.

– Будем, значит, душа в душу жить?..

Илья вспомнил слова отца о музыкантах.

– Будем! – ответил он.

– Ты нас отцу не продашь? Ты не Иуда, малый?

– Не продам... Что вы, ребята!

– Ну, пойдем же в шинок. Водки не пьешь, меду или пива выпьем. А на Савку надежда плохая. Теперь уж он провует целый день. Про своего Сакия вспомнил! Ах ты, художник!

Илья и Кирилло перелезли через канаву и за садом пошли в деревенский шинок, где флейтист тотчас представил нового приятеля всей честной компании и пошла попойка.

Илья Танцур, как сказал, так и поступил. Он отпил только несколько из стакана пива, от прочего отказался. Но вышел он из шинка особенно веселый и довольный, даже раскраснелся.

Весенний яркий день затеплел по-летнему. Кучки народа бросились купаться к Лихому.

– Как слобода-то наша изменилась с той поры, как я тут был! – сказал Илья, уходя с Кириллой бродить далее за село, – народ совсем не тот стал. Как-то веселее глядит! Точно его никогда и не бивали!

– Да, новые времена подходят! – ответил Кирилло, – мы слышали, как зимой в городе были. Много болтают, да, почитай, пустое, – все еще ничего нет.

Они отошли далеко за село. Шли каменистыми буграми. Влево мелькали прибрежья Лихого. – Не выкупаться ли и нам? – спросил Илья.

– Давай. Можно для друга.

Кирилло был сильно навеселе. Они пошли к реке.

Скалистый отвесный берег Лихого здесь был особенно хорош, как у большей части рек, впадающих в Волгу. Кое-где по берегу торчали дуплистые липы и бересты, шли маленькие лески. Волнуясь и медленно поднимаясь, шли по берегу холмы, торча то зелеными плоскими шатрами, то меловыми остроконечными вышками, в расщелинах которых мелькали верески, россыпи желтых песков, сланцы разноцветных глин, а по гребням отдаленных бугров, будто кабанья щетина, остовы с незапамятной старины уцелевших дубов. Тут известковые стены, столпясь белым сказочным стадом, нависли над поемною болотистой равниною. Там те же белые холмы убежали прочь, волнуясь вдали беспорядочными логоми, лесистыми балками и темными, зияющими оврагами. В недостижимом для глаза отдалении из них опять выскакивали два-три новых синеющих горба. Холмы огибали полнеба, подковою свертывали вправо и, будто усталые, бросались вдоль другого ручья, в упор к Волге, и всем своим отрядом облокачивались о ее воды, купаясь и отражаясь в их голубом разливе.

Илья и Кирилло стали раздеваться на берегу Лихого, под густым берестом, у плотины запустелой мельницы соседнего вольного села. Село было спрятано за косогором по тот бок реки. Место это представляло опять порядочную глушь и дичь, верстах в двух выше Есауловки. За рекой паслись рыжие, так называемые татарские, курдючные овцы. Мальчишка пастух спал в тени под камнем.

Новые друзья стали купаться, весело разговаривая и пересмеиваясь.

– Ты выкупаешься, домой пойдешь, отлично наешься у отца-матери! – сказал Кирилло, жадно остужая пылавшее лицо и тело прохладною водою.

– Да отчего же ты думаешь, Кирюша, что я спать лягу?

– Оттого, Илько, что уж про вашего брата казака сказано... Ведь ты казак по крови, по дедам, а мои деды москалями сюда пришли; у нас тут каша, месиво, ты видишь... ты черномазый, а я белобрысый, ты казак с Днепра, а я казак с Дону, то есть почти не казак! Сказано: «Оттого казак гладок, что поел, да и на бок!»

Кирилло, однако, прежде на себе испытал эту пословицу, вышел из воды, лег на солнышке, потянулся на траве и стал дремать, пока Илья смывал с себя прах долгих переходов и странствований на родину. Вымывшись дочиста, Илья опять бросился в реку; нырнул и выплыл, обогнувши лесистый островок у плотины. Посмотрел, а на другом берегу, под тенью мельницы, сидит молодой, невеселый и бледный священник с удочкой. Он слегка покачивался и напевал какой-то гимн.

– Здравствуйте, батюшка! – отозвался с непривычной развязностью Илья, выставившись по пояс из воды и особенно весело настроенный выпивкой пива, – извините, что я так... голышом, значит...

Священник кивнул ему головой, приподняв широкую пуховую шляпу. Это оказался человек лет двадцати пяти, сутуловатый, с широким скуластым лицом, глухим, отрывистым голосом и серыми задумчивыми глазами.

– Кто вы? – спросил священник, бывший слегка близоруким и не видевший из-за мельницы, кто это.

– Угадайте.

Илья выжимал воду из кудрявых черных волос. Бороды у него еще не было.

– По телу моему угадайте! Что? – спросил Илья, – трудно по телу угадать! Барин я или мужик? Ага! Трудновато?

В это время по другую сторону реки, выдвинувшись из-под береста, стал одеваться Кирилло, спиною к мельнице. Священник не узнал флейтиста и стал в тупик, рассуждая по замеченному на земле пальто музыканта, не господ ли охотники это из дворян, попавшие сюда случайно прогулкою вдоль Лихого.

Илья засмеялся.

– Что, батюшка? По телу-то белому все, значит, равны? Натура-то у всех нас, значит, одна перед господом?

– Вы не из Карабиновки, не господина Павлова родня? – продолжал спрашивать голого незнакомца близорукий священник.

Илья так и покатился со смеху.

– Раб, батюшка! Мужичок, ваше преподобие! Да еще из беглых, воротился, значит; становому пожива есть в другом каком случае!

Илья весело кланялся, высунувшись из воды. Священник, увидя свой промах, замолчал. Тут подошел Кирилло по плотине, и дело окончательно выяснилось. Илья скоро также оделся и прибежал на берег под мельницу.

– Это отец Смарагд, Илюша! – сказал Кирилло, – другой тот наш священник в Есауловке, что я тебе говорил. Мы с тобою сегодня обедню прогуляли. Вы нам простите, батюшка! Это Илюшка, батюшка! Романа Антоныча сын! – прибавил Кирилло, – мой новый друг! полюбите-с, как и меня!

Священник покосился на друга Кириллы и стал убирать удки и прочие припасы неудачной в этот раз рыбной ловли, угрюмо прибавив: «Заслужит, так полюбим!»

– Ничего, батюшка, не поймали? – спросил Кирилло, присевши на корточки.

– Ничего, запоздал, должно быть.

– Да вы, батюшка, все на червей. Попробуйте на хлеб. Караси пойдут: тут их гибель под плотинкой. Мы венгерцу иной раз бреднем ловим...

– Далеко домой за хлебом теперь идти.

– И тут достану... сейчас вот достану... Для вас, батюшка, можно! Вот у мальчишки в котомке, наверно, хлеб есть...

Кирилло побежал к спавшему пастуху. Священник, сев снова под тень мельницы, не без любопытства посмотрел на сына Романа Танцура, который так озадачил его вопросом касательно своего тела.

– Так ты тот самый Илья, что так долго в бегах был? – спросил отец Смарагд, пристально и строго осмотрев с ног до головы стоявшего перед ним Илью.

– Я, батюшка.

– Где же ты был до сих пор?

– Где день, а где ночь, везде понемножку.

– Знакомый ответ...

Священник задумался.

– Сам пришел или привели?

– Сам... Я вам уж доложил про то...

– Что же так волю-то бросил?

– Еще неволи захотелось попробовать.

– Верно, узнал, что отец в приказчиках?

– Видит бог, не знал, батюшка. И что мне в том!

– Что же, если бы узнал?

– Может быть... и не воротился бы!

– Вот как! – Кирилло принес хлеба. Священник насадил на крючок новую наживу и бросил удку. Кирилло рассказал священнику, какую ему услугу сделал Илья. Священник опять осмотрел с ног до головы Илью.

– Ну, теперь, брат, тебе от барыни, от той Перебоченской, проходу не будет, коли она узнает, что ты выпустил ее девку из голубятни...

– Эва, батюшка, бабой пугать стали! Уж будто с той поры, как я бегать стал, на них и управы не выдумали!

– Что таиться, Илья, не говори! – перебил Кирилло, – это такая, что ее не задирай! Не знаешь ты еще этой барыни, батюшка правду говорит!

Священник, как видно, пользовался на селе полною любовью прихожан. Парни с ним совершенно не стеснялись. Он умел с ними говорить, не важничая и вместе не теряя своего обычного грустного и строгого настроения. Рыба, однако же, не клевала.

– Палагея Андреевна Перебоченская на чужой земле живет, – продолжал священник, – только дом ее построен самою. Она землю эту на аренду сперва взяла и перевела туда своих людей. Только люди ее почти все разбежались, и Конский Сырт этот как был еще до меня, и теперь глушь-глушь. Устроена только одна барская усадьба, сараи для скотских гуртов, да две-три людских хатенки. Она все разыскивает своих беглых, но они как-то к ней все нейдут.

Илья с трепетом вспомнил каретника Талаверку в Ростове и дочь его Настю, и мороз пробежал у него за спиною.

– Твой отец к ней часто ездит; она из соседей его только и жалует.

– Да, сказывали...

– Вы, батюшка, ни-ни! Его-то, Илью, то есть, с отцом вы не мешайте! – заметил решительно Кирилло. – Он на отца не похож, ни-ни! Право слово! Он в дворовые идти не хочет, а к миру...

Священник молча закинул снова удочку.

– Как же так, Илья? Отец-то, чай, не плохое теперь тебе место при себе дал бы? Он так много делает доброго князю, так хорошо ведет все дела по имению, что князь и тебя отличит.

– Не знаю, батюшка, что еще будет. А я бы от мира, от общества то есть, не отлучался бы. В дворовые записываться претит. Мне бы лучше на землю, к хлебу, к овечкам, а не то, и сад люблю, виноградом занимался...

– О, разорительница эта Перебоченская! погубила она не одного тут человека! – как бы про себя заметил пасмурный и бледный священник.

– Расскажите, батюшка, про генерала! – подхватил Кирилло, насаживая новую приваду на удочку священника. – Вы про генерала Рубашкина ему расскажите! Как она завладела его землей и владеет себе, ничего не слушая; как двумя тысячами лугу владеет, всем значит Конским Сыртом, как скот и табуны по нем нагуливает на продажу и никаких бумаг на ту землю у нее нету...

– Да, братцы, – со вздохом сказал священник, – не дай господи никому попасться в переделку к этой-то барыне. Генерала Рубашкина она точно, кажется, по миру нищим пустит. Оттягала у него всю землю, и вряд ли он ее получит обратно. А какой бы он сосед был хороший?

– Слышишь, Илюша? генерала в порох столкла! – сказал Кирилло, – что же бы она с Фросей-то сделала, если бы ты ее из голубятни не вызволил?.. Зверь-баба, ехидна! Видали мы скотников, гуртовщиков из мужчин – те бывают ловки да бойки, а эта всякого мужика-гуртовщика за пояс заткнет...

Илья стоял в раздумье. Из его ума не выходил далекий беглец, старик каретник Талаверка и его дочка Настя.

В это время, на бугре, в полуверсте от мельницы, показался в широкой соломенной шляпе, с черною лентою на тулье, в пикейном белом сюртучке, лаковых полусапожках и в розовом платочке на шее, не то юноша русский помещик, не то залетевший из Швейцарии в эту глушь счастливый путешественник, студент града Гейдельберга, не то, наконец, упавший сюда с неба интереснейший виргинский плантатор. Собеседники замолчали. Священник, сильно щурясь, взгляделся, бросил удочку, наскоро собрал рыболовные припасы и пошел навстречу к незнакомцу.

– Идите, ребята, домой! – сказал он Илье и Кирилло, – да снесите ко мне на слободу и снасти! А ты, Илья, зайди как-нибудь, ты про виноград толковал; у меня лозы есть подрезать. Я тоже пробую...

– Кто это? – спросил Илья Кириллу про незнакомца.

– Этот-то генерал Рубашкин и есть. Он живет тут в двух верстах отсюда, за косогором, в вольном селе Малом Малаканце. От нас этот Малаканец в пяти верстах будет. Там генерал живет на квартире у простого мужика. Уж сколько времени тягается с Перебоченскою, а ничего с нею не делает! Все ждет решения. Генерал и тот ничего не сделает иной раз! Что же мы-то сделали бы, коли нужда встретила бы?

Генерал снял шляпу, дружески протянул руку священнику и вместе с ним пошел, как бы без цели, разговаривая, по той стороне реки. Вероятно, священник что-нибудь сказал ему про Илью, потому что Рубашкин издала оглянулся на него, уходя в поле.

Илья и Кирилло перешли по плотине обратно по сю сторону Лихого и направились к Есауловке. Не доходя до своего села, они в развесистом зеленом байраке присели отдохнуть. Кирилло вынул опять из сапога флейту и стал играть. Флейта так нежно и так игриво запела, что издала могло показаться, будто в зеленом овраге, перелетая с кудрявого дерева на дерево, стала перезванивать голосистая, желтобокая иволга. И точно, заслышавши иволгу, весь байрак мало-помалу откликнулся голосами других птиц. Эти голоса были подхвачены соседними перелесками и кустарными буграми. Через час пела вся окрестность, опять заслонившись от солнца широким углом беловатой, развесистой и медленно плывущей по небу тучей.

С понедельника действительно отец рано, чем свет, выслал Илью на огульную работу с мужиками. Пол-Есауловки работало исстари с начала недели три дня, а полсела три дня в конце недели. Часть рабочих пошла в поле с плугами пахать под гречу, а часть – на ток очищать вороха мякины и домолачивать оставшиеся с зимы скирды хлеба. Приказчик поставил сына с лопатой на легком ветерке, приказав ему перекидывать какие-то хлебные осадки; сам с палкой походил, как говорится, помозолит между молотниками, сел на каурюю кобылу и поехал рысцей в поле к пахарям.

Появление нового лица на селе, а особенно на огульной работе, всегда вызывает заметное впечатление. Тут же явилось такое любопытное лицо, как сын старого волкодава, бывшего голопятого Ромашки Танцура, сын приказчика, двенадцать лет бывший в бегах. Мужики исподлобья смотрели на него, постукивая по снопам цепями. Бабы, особою пестрою толпою молотившие в стороне овес под надзором десятского, мало-помалу, едва уехал долговязый Роман, будто отдыхая, стали облакачиваться на цепи и смотреть во все глаза на Илью, тихо перешептываясь между собою.

– Чего не видели, пучеглазые! – зевая, крикнул десятский, более по привычке, чем из рвения к опостылевшей ему самому работе.

Он также лишний раз повел глазами на Илью, который в щегольских высоких сапогах, в нанковых шароварах и в синей чуйке усердно вскидывал лопатой сорную труху, не поднимая глаз от земли.

– Такое же иродово зелье будет! – с холодною злобою сказала одна из более бойких баб.

– А одежда-то, одежда! – подхватила вполголоса другая. – Как на свадьбу, псенок, вырядился. Туда же! С нашего брата, беглого, сейчас бы сняли чужую одежду, допросили бы; а его, в чем пришел, сюда приставили! Верно в помощники себе готовит...

«Душегубово племя!» – «Не сеяно растет!» – «Чай прибыл с батькой распивать!» – «С господами станет ведаться!» – «В приказчицкие доносчики, хамово отродье, скоро попадет!» – раздались кругом отрывистые, сперва сдержанные голоса. Десятский громко засмеялся, зевая и палкой колотя по земле.

– И теперь француз наезжает сюда почти задаром! – заметил и он тихо, – а как сойдутся отец с сыном, нам хоть по лесам разбежаться.

Илья с мучительной тоской глянул искоса вокруг себя, собираясь перейти от одной кучи трухи к другой. Десятки любопытных, сердитых и недружелюбных лиц по-прежнему пристально смотрели на него. Илья взмахнул лопатой и, будто ничего не слыша, стал опять работать.

– Молчит! – шепнул кто-то из мужиков на всю толпу.

– Воли налопался! – резко сказала баба, – подавиться бы тебе, душегубово семя!

– Эй, вы! работать! – отозвался десятский умышленно строгим голосом.

Работа пошла своим чередом. Тяжело дотянулся день для Ильи. Нелегко прошли первая и вторая недели. Стали косить первые поемные луга. То же повторилось с Ильёй и на лугу, когда он, в числе ста или двухсот косарей, очутился среди густой травы на побережье Лихого. Работа шла опять под надзором десятского. Его отец был за покупками в городе. Косари прошли три ручки и стали разом всей оравой точить косы. Раздались опять насмешливые голоса:

«Приказчицкий наследник!» – «Иродово зелье!» – «Вскормлен нами, да нас же зубами за груди!» – «Не сеяно растет!»

Илья не вытерпел, бросил косу, вышел из ряда вон и сел к стороне, как будто отдыхая. Но его и там допекли громкие, в упор кидаемые насмешки. Илья стал против косарей, снял шапку и поклонился на все четыре стороны.

– Православные! – сказал он.

Толпа мигом смолкла.

– Сколько я ни ходил, православные, по свету, а нигде не видел, чтоб невинatomу голову рубили! Я от мира никуда. Между вас дитятею рос, между вас наша хата стояла, от вас я и теперь не пойду, коли не прогоните...

– Тебя никто и не гонит! Мы ничего...

– За что же попрекаете, православные?

– А водки выставишь, хамово отродье? – отозвался голос посмелее из косарей.

Другие громко захохотали.

– С нашим вам почтением. Много вас, братцы, да я и последнее отдам!

Толпа весело загудела. Илья расстегнул жилет, из-под него вытащил две депозитки и отдал косарям. Десятский подошел, крикнул, погладил усы, протянул руку и вызвался сам в вольный шинок, в Малый Малаканец, съездить за водкой. Опорожнили бочонок с водой. Десятский вскочил на телегу и поскакал напрямик по полю. Через час поспела водка. Косари сели обедать. «Ну, это не голопятый, не волкодав; это не старик Танцур, а человек, как человек! Сейчас видно хорошую душу, что по свету между добрых людей уму-разуму набрался!»

С песнями воротились косари с поля, с первого починка косовицы. Старый Роман даже удивился, подъезжая поздно вечером к барскому двору. «Что бы это такое было? Праздника нет, а вся слобода песни играет!» Пошел осмотреть сторожей, и те были на местах. В слободе было смирно. Только песни долго еще не прекращались.

Так был принят Илья Танцур в состав своего общества, громады.

III. Генерал Рубашкин также дома

Кто же был генерал Рубашкин, с которым священник, отец Смарагд, от мельницы пошел полем и о котором Илье сказал музыкант Кирилло Безуглый, что его разорила барыня Перебоченская?

Адриан Сергеич Рубашкин, сын мелкопоместного дворянина с низовьев Волги, из бывших казаков, часть родных которого была на Украине и в Новороссии, рано поступил в Петербурге на службу в какой-то департамент писцом да с той поры в продолжение почти сорока лет не покидал ни Петербурга, ни этого департамента. Там он получил, с тревогой в душе, первый канцелярский чин, там дослужился и до высшего места директора канцелярии, а потом департамента, и с ним до титула действительного статского советника, то есть небогатого генерала. Несмотря на сорокалетнее сидение за столом, сперва на потертом и продавленном стуле, а потом в раззолоченном директорском кресле, он сохранил силы, здоровье, бодрость духа и румянец щек. От первой казенной квартиры под чердаком, над министерским архивом и рядом с швейцарским помощником, до последней директорской квартиры в двенадцать просторных и теплых комнат, Адриан Сергеич остался тем же умеренным, иногда скуповатым, а подчас и любившим пожить смертным, который, впрочем, дело женитьбы отвергал, как совершенно ему неподходящее дело, и большею частию насчет женского пола обходился в тайне, как-то слегка, урывками, не придавая этому особого значения. Напрасно сперва засматривались на него дочери престарелых писцов, бухгалтеров, журналистов и столоначальников, а потом, когда уже он облачался в ордена и даже в звезду, дочери таких же директоров и даже министерские племянницы и внучки. Он говорил: «Женитьба – лотерейный билет; заранее не угадаешь, какой билет вынется. Блажен, кто выиграет; но еще блаженнее тот, кто вообще до всяких азартных игр не охотник». Живя в просторной сановничьей квартире с собственным швейцаром и холостыми назначенными вечерами, где собирался разнообразный люд поиграть в карты, поболтать и узнать новости правительственного света, Рубашкин являлся к гостям постоянно расфранченный, раздушенный, сюртук и белье свежие, с иголки. Комнаты его были уставлены мягкой щегольской мебелью, увешаны красивыми картинами. Бронзы, ковры, зеркала и штофы показывали утонченный вкус хозяина. Кабинет его был полон безделушками. На столах кучами лежали постоянно деловые бумаги. Хорошо обеспеченный щедрым жалованьем, Адриан Сергеич не мотал денег попусту. Отлично служил и ни в чем не отказывал себе в тихой домашней жизни смирного и приятного холостяка. Летом он жил на даче, но как-то скуп и торопливо пользовался благами дачной жизни и ежедневно являлся в город на службу, ни разу в сорок лет не взяв себе отпуска даже на месяц. Его любили все, от департаментских сторожей до крупных чиновников. Во всех своих потребностях и мелких привычках он был в высшей степени умерен. Одно только было предметом его искренней, безграничной любви – это Малороссия, мифический и таинственный образ которой когда-то с детства радостно мелькнул для него и скрылся на долгие годы. Все толковали вокруг него о Малороссии, не только тамошние уроженцы, но и видевшие ее хотя бы мельком. Рубашкин молчал, слушал, склонив голову и как-то тихо улыбаясь, и думал: «Я тебя давно покинул, моя родина; но я, как сквозь туман, помню твои уютные сады, белые, мелом мазанные, чистенькие слободки; помню твои чудные песни и твои привольные, грустно-синеющие степи. Я доберусь к тебе когда-нибудь и за то останусь среди твоих пустынь любоваться навеки твоею природою. Там я и умру. Дай только дослужиться до порядочной пенсии, чтоб не умереть под старость с голоду на родине. Но куда ехать? Земли там у меня нет. Живы ли родные, и про то, наверное, не знаю. Были, кажется, родные на Волге, были на Украине, были и в Новороссии».

Годы шли, Рубашкин, за давностью времени бросивший всякую переписку с немногими близкими лицами на родине, жил по-прежнему степенно и отрадно. Являлся в театрах, любил оперу, концерты, посещал несколько первых чопорнейших домов из высшего общества. Говорил и судил обо всем умно и дельно. Спокойно и умеренно встретил начало новых реформ. Как на отпетых, живых еще, но уже скорых покойников, с улыбкой посматривал на откупщиков, посещая их гостеприимные и по-прежнему шумные обеды и вечера, где еще толпилась вся служебная знать. С любопытством прислушивался он к поднятому тогда крестьянскому вопросу. Жадно пробегал в газетах и журналах первые намеки так называемой обличительной и гласной литературы. Но где-то, по какому-то департаментскому промаху, как указали ему доброжелатели, прихлопнули в печати и его самого. Он долго тер себе лоб и протирал глаза, прочтя о себе слова: «Бюрократы отжили свой век; у канцелярского стола – России не узнаешь; надо ехать изучать ее в провинции; туда теперь отодвигается все лучшее, там должна возрождаться заново наша жизнь». – «Я бюрократ? мертвец?» – спросил сам себя Рубашкин, воротившись с одного пышного, блистательного вечера, где толковалось много о разных последних регламентациях, кодификациях и прочих бумажных реформах и где были в числе гостей даже два статс-секретаря. А тут еще обошли его второю звездою; какой-то его сослуживец в товарищи министра попал. Совсем огорчился Рубашкин. Природа еще сильнее стала его манить к себе. «Сорок лет прожил я даром в этом воздухе, в этой душной, смрадной тюрьме!» – сказал себе Адриан Сергеич, наскоро сбрасывая с плеч тончайший черный фрак с младшею звездою на груди, бриллиантовые запонки и перчатки. Отпустив единственного слугу из отставных солдат-малороссиян, он взглянул на свой письменный стол, заваленный кучею вновь принесенных для прочтения, соображения и подписи пакетов с текущими делами, опять повертел в руках листок газеты с заигрывающим письмом какого-то провинциального корреспондента о столичных бюрократах вообще и о нем самом в особенности и стал быстро ходить вдоль вереницы просторных комнат своей директорской квартиры.

«А они-то веселятся там, важничают, нос дерут!» – думал он о только что оставленном вечере, куда, гремя и сверкая фонарями, еще продолжали при его уходе подъезжать кареты. В его уме мелькали беломраморные плечи и величественные улыбки дам, блонды, шелки, бархат, золото и бриллианты модных туалетов. В его ушах звенели сабли и шпоры гвардейцев. В раздушенных залах гремела музыка. Носились, распространяя аромат духов и звуки французского диалекта, веселые пары. У зеленых столов играли в карты важные и задумчивые лица. Чистенькие мордочки будущих счастливых бюрократов, только что испеченные чиновники из правоведов и лицеистов, причесанные первейшими парикмахерами и обученные танцам и французскому разговору первейшими питерскими учителями, в кадрили и даже в польке, протискиваясь из толпы, на ходу сообщали своим дамам новости о крепостном, тогда модном, вопросе, о народном обучении и об откупах. «И это все блестящее, самодовольное собрание теперь оказывается гилью!» – решил Рубашкин, остановившись перед столом кабинета и опять повертев в руках невзрачную газетку с провинциальною корреспонденцией. Он вышел, чувствуя странный запах, в переднюю, глянул за перегородку, где жил у печурки его слуга-солдат, и застал его за какою-то непомерно душистою и жирною трапезою.

– Что это ты ешь?

Седовласый гвардеец вскочил, прикрывая ладонью дымившуюся лохань, и оторопел от изумления, что начальство его так неожиданно поймало.

– Что это ты ешь, Проценко?

– Виноват, ваше превосходительство! Кишки все оборвала здешняя пресная пища. Наквасил сам за печуркою бураков, да и сварил нашего борщу с перцем и с уткою.

– А вареников не делал?

– И вареников, ваше превосходительство, настряпал! – прибавил Проценко, доставая из-под стола другую объемистую лохань, прикрытую тряпкой, из-под которой вырывалось еще более обаятельное благоухание.

– Ничего, брат Проценко! Ты, я вижу, умнее меня! Ешь на здоровье!

Рубашкин заперся в кабинете и просидел в кресле до утра. Пакеты с надписями «конфиденциально», «весьма нужное», «в собственные руки» и «к немедленному исполнению» – в первый раз остались нераспечатанными. Бледное мертвенное утро занялось над Петербургом. Рубашкин подошел к окну. Дворники в нескончаемый раз сметали снег и вчерашний песок с тротуаров, торопливо и важно производя эту работу, будто подметали улицы для последнего страшного суда. Бледные чиновники спешили во всех направлениях в свои канцелярии.

«Ум провинций!.. Жизнь областей!.. И точно... Вот она, новая наша заря!» – сказал со вздохом Рубашкин, отпер стол, достал бумаги и стал писать докладную записку к своему министру. И в то время как департаментские политики, разбирая в числе других и его карьеру, решали задачу, чем будет впоследствии Рубашкин и скоро ли его сделают сенатором или товарищем министра, – неожиданная громовая весть разнеслась между его подчиненными и знакомыми. Министр принял его просьбу. Рубашкин выходил в отставку...

– Что с вами! Вы оставляете службу? – спрашивали его знакомые, тоскливо и с сожалением заглядывая ему в лицо.

– Бумажное царство в России кончилось! – отвечал Рубашкин.

– Вы только не хотите сами этого заметить и в том сознаться. Дадим место молодежи...

Он распродал мебель, зеркала, лучшие бронзы и картины, оставил себе только несколько любимых вещей, еще способных убрать одну или две небольших комнаты. Эти остатки уложил в ящики, сдал их в контору транспортов, взял с собою один чемодан, сел в вагон и поехал в Москву, а оттуда в Малороссию. Одна мысль наполняла его; уйти от неблагодарного Петербурга, пожить на свободе, на родине, упиться ее красотами. Адриан Сергеич соображал несколько смутно, что на юге России у него из родни должны оставаться два двоюродных брата: один – в бедном полтавском хуторе, где гостил иногда и его покойный, безземельный отец и откуда его самого повезли на службу, а другой – в какой-то степной полутатарской пустыне, где-то невдалеке от Новороссии, на юге, за Волгой. Он с ними лет двадцать уже не переписывался и наверное не знал, живы ли они. «Ум провинций, вот оно что! самоуправление областей!» – шептал Адриан Сергеич, проезжая срединные русские губернии и приближаясь к Малороссии. Где-то на дороге попался ему воз, запряженный волами, мелькнули белые избы. Далее звучно раздалось некогда родное для него украинское наречие. Сердце по старине у Рубашкина дрогнуло, он высунулся из кареты и долго не мог сквозь слезы разглядеть чуть памятные ему с детства поля и хутора, которые уже замелькали вокруг дороги. Карета сменилась перекладной. Тройка своротила на проселок. Пошли топкие зеленеющие берега Ворсклы. Был апрель. Весна захватывала дыхание птичьими криками, воздухом и солнцем. Вот большое казацкое старинное село, а вот одинокий, бедный дворянский хуторок... Рубашкин взошел на дрянное, покосившееся крылечко, стал на пороге низенького старого домика и не узнал своего двоюродного брата, оставленного здесь когда-то кудрявым и румяным ребенком, как тот, разумеется, не узнал его самого. Брат оказался рослым, оборванным, седым и совершенно испитым стариком. После первых приветствий оказалось, что этот брат, Флор Титыч Рубашкин, совершенно прожил еще лет семь назад и коротал век уже не у себя, а у старой и тоже седой своей сестры, которая у него вовремя успела купить его собственное имение. Старуха сестра, Васса Титовна, была слепая; Флору Титычу уже не на что было пить; он упросился к сестре на хлебы и поместился у нее на кухне. Дни проводили брат и сестра вместе. Флор Титыч святы ей вслух читал, а сестра, дремля, вязала чулки на продажу для церкви. За обедом брат сестре кушанье разли-

вал, ложку подавал, мясо резал, а после обеда подбирал на спицы спущенные петли ее чулка. Родичи Адриана Сергеича жили в маленьком домике, а в большом помещалось сельское правление другого соседнего помещичьего имения, где все наследники вымерли и имение это поступило в казну. Владельцев того поместья Рубашкин также когда-то знал в детстве. «Наши дворянские роды вымирают!» – сказал ему уныло Флор Титыч, передавая брату, как они с сестрой продали под то сельское правление свой родовой дом. «Там в наших комнатах теперь живут старшина и сельский писарь! – прибавила сестра, – у старшины, говорят, медаль на груди. А писарь спит в той самой комнате, где нашего папеньки и маменьки опочивальня была; в образной нашей живут конторские сторожа, а из детской сделана холодная для штрафных арестантов». – «Прихожу я раз туда, – перебил Флор Титыч, – а в коридоре портретом покойного дедушки кадка с водой прикрыта». Грустно вглядывался Адриан Сергеич в лица своих обедневших родичей. Но Флор Титыч не унывал, хотя на шее его не бывало даже галстука, а сквозь нанковые потертые шаровары просвечивали красные голые колени. Какие-то башмаки из суконных обрезков были надеты на его мозолистые и избитые босые ноги. Лицо небрито. Длинные седые волосы в беспорядке падали на сторбленные плечи.

– Что ты думаешь, брат, с собою делать? – спросил его дня через три Адриан Сергеич, оставшись погостить у них.

– Пошел бы милостыню в город просить, да сестра не пускает. После смерти своей хочет мне этот флигелек и хутор отказать.

– Не тебе, а твоим семи дочерям, которые все в гувернантках! – перебила его сестра.

Пошел генерал бродить с братом по окрестностям. Через этот полтавский хутор покойный отец генерала, мелкий чиновник в приволжском городишке, увез Адриана Сергеича в Петербург на службу и вскоре где-то сам умер. Пошли они в сад. «Где же ваши старые дедовские липы? – спросил Адриан Сергеич брата, – я помню, они тут были!» Флор Титыч оглянулся: «Не говорите слепой сестре, я их срубил и продал; не на что было чаю сестре купить как-то». – «Что же ты, брат, здесь хозяйством сам не займешься? Земля у вас есть. Тогда бы и лип не нужно было рубить!» – «Эх, брат! то есть ты советуешь самому к плугу-то стать? Нельзя еще нашему брату, дворянину, землю пахать; а людишки, какие были у нас, разбежались за эти последние годы, как про волю слухи пошли. Нанялся я было точно вот в это сельское правление писарем; в той самой комнате стал заседать, где и ты когда-то со мной бегал и где, бывало, три-четыре няньки с ноги один чулок у меня когда-то стягивали. Да больно зазорно стало своим же соседям мужикам, отобранным в казну, писарем служить, хоть и получал я хорошее жалованье – семь целковых в месяц!»

Брат и сестра хуторяне, обрадовавшись приезду такого невиданного родича генерала, засуетились угощать его. Шептались все о посуде, о какой-нибудь курице, о том, что надо вот в город послать за говядиной, за макаронами и еще за чем-то, да все некого... Генерал их остановил. Оставил у них в углу, не развязывая, свои вещи, съездил за восемь верст в город, сам закупил разных припасов, привез прислугу и объявил, что остается погостить у них и несколько подышать свежим воздухом. Но не было весело на душе у Адриана Сергеича. Его окружала одна бедность и всякие недостатки да ослабевшая и ничем не оживляемая и не воскрешаемая вера в лучшую долю погибшего, некогда зажиточного быта. Кроме родственного хутора, весь околоток как-то жалко притих, точно и все остальные его жители обеднели и разорились. «Прошли наши времена! – говорили Флор Титыч и Васса Титовна. – Нам уж не поправиться, так мы и в могилу ляжем! Не так жили наши деды... Все миновало на нашей Ворскле!» – «Где же сохранилась былая, лучшая жизнь? – допрашивал родичей генерал, – где живут отраднее здесь на юге?» – «В Новороссии да внизу на Волге не так жалуются! – отвечали те, – там живет наш другой брат, Клим Титыч. Ему там досталось наследство за женой, и он живет богаче и не жалуется, как мы все».

Крестьяне показались генералу тоже чересчур ленивы и довольны, до скотства, малым. Быт со дня на день беднеющих окольных помещиков наводил на него уныние и тоску. Везде толковали об одних картах, охоте, водке да о мелких соседских дразгах. Сказочное былое гостеприимство исчезло. Не встречалось более ни Пульхерии Ивановны, ни Афанасия Иваныча, ни Ивана Иваныча и Ивана Никифоруна. Одни крестьянские соседние комитеты утешили было Адриана Сергеича, питомца петербургской деловой, неугомонной практики. Но и в них скоро пошла чепуха и завелись личности. Тут судьба свела его с другим его двоюродным братом, именно с Климом Титычем Рубашкиным, Клим Титыч, как сказано выше, жил где-то в безлюдной полутатарской степи, за Волгой. Он от отца получил родовой клочок земли в Новороссии, возле Дона, где сам было служил; женился там на дочери одного майора из казаков, торговавшего скотом и имевшего большие капиталы, взял за женой ненаселенную землю между Волгой и Доном, знакомый нам Конский Сырт, вышел в отставку, продал свой собственный клочок земли и занялся жениным хозяйством. Жена его вскоре умерла от родов, не оставив после себя детей, а при жизни укрепила за ним по купчей свое наследство. Клим Титыч усердно провозился несколько лет над этим имением, но, не зная, как взяться за него без капитала, сдал его на аренду своей соседке Перебоченской, ездившей к нему иногда торговать коров, и переехал на спокойное житье в один из поволжских низовых городков, похваливая свое житье в письмах брату и сестре. Соседка была бой-баба; застав на арендной земле домик и избушку, обстроила усадьбу очень хорошо, завела на этой земле гурты скота, вольнонаемным трудом повела и хлебопашество, пустила корни в этом имении, да и затеяла его без дальних слов оттягать у смиренного Клина Титыча навсегда. Сперва пошли у нее с ним недоразумения по арендной плате, потом явились какие-то дополнительные условия о доме и о прочих сделанных ею постройках, наконец, было задумалась она даже над некоторым подложным, хотя и весьма грубоватым, документом будто бы его жены. Словом, вышла чепуха. А Клим Титыч, искупавшись невзначай рано весной в реке, в очень холодной воде, получил сперва кашель, а потом чахотку. Доктора послали его на последние деньжата в Крым, на южный берег. «Что ехать в Крым, – подумал он, – лучше съезжу в Киев на богомолье да, кстати, навещу брата с сестрой на старом отцовском хуторе!» Там Клим Титыч застал двоюродного братца, генерала, на старом родовом пепелище, не удовлетворенного тихим бытом старосветской Украины, как он, с питерской точки зрения, выражался, будто бы не имевшей впереди у себя сильных идеалов. Он разговорился с ним о Новороссии и о поволжском русском востоке.

– Вот где край, так край! – сказал он братцу генералу, – вот где жизнь начинается! Там наша Русь заново перестраивается. Какое там развивается пароходство! Строится и скоро кончится железная дорога по степи из Волги в Дон. Земли целинные, нетронутые, плодородные. Край непочатой, сущие американские степи. Поволжье – настоящие штаты по Миссисипи, а низовье Дона и азовские побережья – Виргиния и Кентукки. Хотите, ваше превосходительство, побывать там?

– Еще бы!

– Нет, не шутя? Вы даже доброе дело можете сделать...

– Какое?

– Моим имением, доставшимся мне по духовному завещанию от моей жены, пустопорожною землей, по имени Конским Сыртом, завладела одна бедовая соседка моя, госпожа Перебоченская. Она сперва держала эту землю на аренде, а теперь, без всякого с моей стороны акта, завладела этою землею окончательно и, что я ни делал, не отдает ее, да и полно. Живет себе там, как англичане в Индии; даже арендную сумму перестала мне платить уже лет шесть назад. Я все был болен; хлопотать сильно было некогда, да и ожидал, что она покается. Вы законы знаете лучше, чем я. Возьмитесь хлопотать и взять обратно мое имение, – я готов с вами быть в доле.

– Извольте; я совершенно свободен. И кстати, здесь мне что-то скучновато.

Клим Титыч дал Адриану Сергеичу полную доверенность, все документы на имение и уехал в Киев. Адриан Сергеич снова уложился, взял почтовых и скоро приехал в окрестности Конского Сырта и Есауловки. Он явился к Палагее Андреевне Перебоченской и предъявил ей свои документы, но с первого же приезда, несмотря на свой чин, получил от нее такой ответ и такой прием, что хотел было тотчас воротиться снова на хутор в Полтавскую губернию и, отказавшись, раз навсегда, любоваться красотами природы поволжского края, лучше созерцать тихие картины Украины старосветской или даже снова воротиться в Петербург на службу. Здесь вмешалась в дело сама неожиданная судьба и остановила Адриана Сергеича надолго в окрестностях Есауловки. В соседнем городе, куда он перевел на первых порах свою переписку, он получил из Киева, в конце того же года, из полиции бумагу, где прочел такие ошеломившие его слова: «Мичман в отставке, Клим Титов сын, Рубашкин, умер скоропостижно в киевской градской больнице, где лечился от чахотки, и оставил все свое имение, состоящее из двух тысяч десятин незаселенной земли, по имени Конский Сырт, близ Волги, такой-то губернии и уезда, ему, отставному действительному статскому советнику, а своему двоюродному брату, Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, вследствие того, что, по отношению полтавской земской полиции, уже не заставшему в живых его, мичмана Клим Титова сына, Рубашкина, оказалось, что собственные родные брат и сестра его, как ближайшие наследники его, Флор Титов и Васса Титова Рубашкины, того года и месяца, волей божиею, без умысла посторонних лиц, на своем хуторе сгорели ночью, без божеского наказания, вместе с своим домом. Их названный хутор, за долг приказу общественного призрения сгоревших владельцев его, имеет быть продан с публичного торга, так как после бездетных Вассы и Флора Титовых Рубашкиных никакого движимого имущества в наличности не нашлось, а все люди их оказались в бегах. Названное же имение Конский Сырт отказано ему, Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, по законному духовному завещанию, каковое в подлиннике высылается на имя его превосходительства, Адриана Сергеева сына, Рубашкина, по месту его жительства, в подлежащее судебное место, для бесспорного ввода его во владение тою землей».

«Бедняки! – подумал Адриан Сергеич, – как ветром, снесло их всех! Прав был покойник Флор Титыч: заметно вымирает наше бывшее, сильное дворянско-помещичье поколение. Теперь я последний из могикан, остаюсь один – окончательная отрасль Рубашкиных. Наш род не привился в срединной Украине. Не привьется ли дело рук его в новороссийском востоке? Совсю свое гнездо здесь, как некогда заводили, на отдаленных конечных окраинах южных степей, одинокие починки и заимки наши предки, коренные украинские казаки. Жениться мне уже поздно, а жажды деятельности во мне еще довольно. Место богатое: развернуться есть где. Что же? Мне еще с небольшим пятьдесят лет; шестидесяти еще нет. Моя генеральская пенсия – постоянный оборотный капитал, который я исподволь стану прививать к этой благодатной целинной, не тронутой еще аферами земле, где у покойного брата и у его арендаторши ходили одни гурты скота. Все, что выработал Петербург в идеале, все, что прославили там господа теоретики, все это теперь придется здесь испытать на практике. Немало и я там, на своей правительственной дорожке, погрешил разными самодовольными решениями задач этой таинственной для нас практики. Не только становым или исправникам, даже и повыше, я посылал громкозвучные ордера и внушения, которые по чаянию нашей столичной братии должны были во всех концах благодатно пересоздать нашу матушку-Русь. Теперь я здесь сам рядовой и подначальный. Посмотрим, как улыбнется мне эта жизненная, областная практика? Наконец-то, из переселения, из бегов на север, и я воротился на юг. Я теперь дома. Как-то тут заживется?»

И практика, повторяем, на первых же порах оборвала генерала Рубашкина.

Еще в качестве поверенного бывшего смиренного владельца Конского Сырта, он вежливо и степенно явился к арендаторше этого имения, Палагее Андреевне Перебоченской, переговорить о ее видах на скорейшую разделку по арендной сумме и об очищении земли от ее присутствия, так как срок аренды давно кончился. Адриан Сергеич приехал к Перебоченской по-петербургски, весь в черном, в модном фраке, в белых перчатках и в лаковых сапогах, с портфелем под мышкой и даже не воспользовался деревенскою льготой насчет фуражки, а явился с шляпой. Голубые его глаза, здоровые румяные щеки и припомаженные, с умеренною проседью, волосы, предстали перед Перебоченскою с запасом добродушия и ободряющего, ласкового снисхождения и доверия; а плотно застегнутый на груди фрак, со звездой, при проходе его по зале в гостиную хозяйки, мимо зеркала, напомнил ему почему-то решительный и вместе великодушный вид какого-то чудодея-адвоката, которого он знал в славе громких подвигов в Петербурге. Направляясь из уездного города, куда он сперва завернул для справок, к временной усадьбе Перебоченской, устроенной этою барынею на луговине, возле зеленого ольховника на Конском Сырте, Рубашкин наскоро рассмотрел этот поселок. Дом в пять-шесть комнат выходил на обширный двор, заваленный поделочным сплавным поволжским лесом. Кругом двора шли скотные, красиво построенные сараи, амбары, конюшня, кухня и людские надворные избы. Несколько просторных и чистых изб, для помещения наемных работников, поденщиков и пастухов, шли отдельным рядом за двором, вдоль молодого, но уже значительно загустевшего и поднявшегося сада. В саду торчала знакомая читателю голубятня, место неудавшегося плена Фроси. У нового, чистого колодца поили рослых быков. Стадо телят паслось на лужайке за садом. По двору шмыгали горничные, и перекликались между конюшнею и амбаром два рослые работника в красных рубахах. За воротами к избам прошел с длинными рыжими усами какой-то человек небольшого роста, но гордого и непонурого вида, вероятно, приказчик. На крыльце гостя встретили выбежавшие из дома разом две служанки. Спросив его имя и звание, они опять скрылись и потом ввели его в залу и в гостиную. В гостиной, на диване, за столом, Рубашкин увидел с картами в руках хозяйку усадьбы. Перебоченская на приветствие гостя слегка привстала и, не глядя на него, опять села. Рубашкин едва успел разглядеть ее высокий, сухощавый, несколько сутуловатый стан, сморщенное бледное лицо, жалкие, будто плачущие, дрянные глаза, белый старомодный, обвязанный сверху по ушам, чепец, какие носят нищенки-просительницы в городах, темное затаканное пальтишко, серый фланелевый платок, обвисший на тощих, костлявых плечах, гарусный ридикюль на руке с изображением огромного яблока и вообще нищенский и убогий вид хозяйки.

– Прошу садиться. Что вам? – спросила Перебоченская, вяло замигав по сторонам.

Рубашкин сел и объявил подробно свое звание, чин и цель приезда.

– Вы держите на аренде имение моего брата? – спросил он, собираясь произнести ловкий спич.

– Так, генерал.

– Вы, извините, денег ему не платите?

– Так, генерал.

– Вы съехать с этой земли не хотите?

– Так, генерал.

– Зачем же вы все это делаете?

Перебоченская положила карты на стол, достала из ридикюля табакерку, понюхала табак и ничего не ответила, слегка, но зорко, поглядывая на гостя.

– Позвольте вас вторично, сударыня, спросить, в качестве человека, уполномоченного формальною доверенностью, какие у вас на это виды?

– А вам на что? – спросила Перебоченская и оправила ленты чепца.

– Как на что? Да я законный истец, я представитель дел моего двоюродного брата.

– Палашка! – тихо вскрикнула Перебоченская, повернувшись на диване к стороне внутренних комнат дома. – Палашка!

Дверь в соседнюю комнату была притворена. Оттуда никто не являлся. Только было слышно, как в зале в клетке мерно прыгала с жердочки на дно и со дна опять на жердочку какая-то тяжеловатая птица. Да в передней аккуратно и звонко стучали заржавленным маятником часы.

– Палашка! – крикнула опять хозяйка, не оборачиваясь к гостю.

«Верно, закуску вспомнила подать или прикажет скорее обед готовить! – решил в уме Рубашкин. – Оно же и кстати, я-таки порядком проголодался!» И он с достоинством стал оглядывать комнату.

Дверь скрипнула. На пороге ее показалась плотная, широкоплечая, румяная и огромного роста горничная, с чулком в руках. Когда она вошла, пол заскрипел под нею.

– Беги, крикни тому генеральскому кучеру, – медленно и с расстановкой сказала барыня, – чтоб подавал их экипаж; они сейчас едут отсюда... Сейчас... слышишь?

– Слышу.

Горничная скрылась. Рубашкин обомлел. Перебоченская как ни в чем не бывало обернулась к нему и опять тихо и грустно устремила на него жалкие, дрянные глазки. Сначала показалось Рубашкину, что она сумасшедшая, и он только подсадовал на чиновников, не предупредивших его об этом. Он все еще молчал и смотрел на хозяйку. Хозяйка, вертя карты в руках, посматривала на него. На дворе загремел подаваемый экипаж.

– Что это значит? – спросил Рубашкин, в смущении поднимая на хозяйку брови.

– Вы как думаете? – спросила она, покачивая головой.

– Я не понимаю-с. Вы меня прогоняете? Значит, мне ехать?

– Точно так... Нечего и сидеть тут с грубостями!

– Как с грубостями?

Генерал вспыхнул. Перебоченская стала опять перебирать на столе карты.

– Во-первых, – сказала она тихо, – я сама знаю ваш чин и понимаю, что вы уполномочены доверенностью; но, во-вторых, не советую вам мешаться в это дело: иначе... вы меня уж извините... Я спуску никому не дам!

– Как не мешаться?

– Просто-с... Не я должна Климу Титычу, а он мне. Да притом же я тут в этой безлюдной глуши выстроилась; постройки все мои. И я вам просто-напросто советую не мешаться сюда и не очень важничать. Тут в степях, извините-с, вы не разгуляетесь очень... Я женщина, и женщина слабая, больная; но у меня... против всяких разбойников найдутся защитники... и весьма хорошие... Клянусь вам!

«Я разбойник?» – подумал про себя Рубашкин, вставая с портфелем, потому что в это время встала и хозяйка.

– Вы такие вещи мне говорите... вы так меня принимаете... что я... извините также и меня, но по крайней мере хоть выслушайте, наконец... Я вам прочту доверенность, письмо моего брата...

– Знать я ничего не хочу-с! Лучше оставьте меня в покое.

– Я ехал из такой дали, думал с вами скоро все покончить; у меня ни квартиры теперь нет, ни души знакомых...

– А вольно же вам было все это брать на себя! Разговаривать далее – баста-с... Вот вам бог, а вот порог! Иначе я людей крикну, и вас выведут за то, что вы меня, старуху, беспокоите и грубите мне...

Рубашкин стоял румяный и озадаченный, с портфелем под мышкою фрака, застегнутого до подбородка, и в волнении натягивал перчатки. Тишина в доме была по-прежнему невозмутимая. Только снова прыгала в зале в клетке птица да в лакейской стучали часы.

Солнце в это время ярко проглянуло на дворе и весело осветило гостиную со свеженькими цветами на окнах, с большим образом в углу под потолком, с картинами синопского сражения и американской охоты в пустынях пампасов на диких лошадях и с кучею шитых гарусных подушек на диване. Огромный жирный кот, как мертвый, спал у печки, раскинувшись на особой подушке. В комнате пахло ладаном.

– Так это ваш последний ответ мне, ехавшему за пятьсот верст, по просьбе брата?

– Последний, генерал.

– Вы не заплатите денег?

– Нет, генерал.

– Не сдадите аренды, которой срок давно кончился?

– Нет, генерал.

– И не выедете с этой земли?

– Нет, генерал.

В уме Рубашкина мелькнула невольно его пышная директорская петербургская квартира, толпа ловко натворенных подчиненных, ослепительные вечера первых сановников, которые он запросто посещал на севере, и тут же улыбка одного тамошнего администратора из передовых, сказавшего ему перед отъездом по какому-то случаю: «Не пройдет года, двух-трех лет, мы пересоздадим Россию, ручаюсь вам в этом!..»

– В таком случае, Палагея Андреевна, не прогневайтесь, если я прибегну... так сказать... к здешним властям и против вас употребят... силу!..

– Палашка! – тихо вскрикнула опять Перебоченская, обернувшись к дверям в соседнюю комнату.

– Сила законов одна для всех на свете... И если...

– Палашка! – уже на весь дом крикнула Перебоченская.

Рубашкин, во избежание дальнейшего скандала, поклонился, не дождался появления исполина-горничной и осторожными, неверными шагами направился через залу в лакейскую. На крыльце он перевел дух. Во дворе было тихо... Почтовые усталые лошади, опустив уши, дремали у подъезда. Ямщик тоже дремал на козлах.

– Едем назад! – сказал Рубашкин и сел в коляску, добытую с трудом напрокат в городишке.

Он выехал. Его никто не провожал. Кругом было тихо, будто все спало или вымерло. Вдали рисовались тихие голубые бугры прибрежий Волги. За Лихим белела, раскинувшись на холме, такая же молчаливая Есауловка. Телята паслись за садом, за ольховником. По лугам Конского Сырта бродил справа один скотский гурт, а слева – другой. Одинокие пастухи издали неподвижно глядели, опершись на длинные палки, с котомками за плечами, точно каменные бабы на курганах в украинских степях. «Позвала бы шальная барыня наметанных своих клеветов, что бьют на сало нагулянный скот, – подумал Рубашкин, – мигом уходила бы меня в своем доме, и никто бы не откликнулся тут за меня в этой глуши! Вот тебе и практика в провинции! Вот я дома...»

Генерал кинулся в город. Утаив главные подробности, он с достоинством рассказал чиновникам о странном поступке с ним Перебоченской. Чиновники с подобающим почтением к его чину и недавней служебной деятельности выслушали его, пожимая плечами, стали шептаться между собою, громко и с видимым негодованием относясь к упорству Перебоченской, и решили, что действительно надо принять против нее более сильные меры. Так сказал становой, так сказал сам исправник, так решил весь земский суд. Рубашкин стал жить в городе. Его скоро узнали все горожане. На улице чиновники и мещане кланялись ему, снимали перед ним шапки. Иногда он посещал скромные вечера у городничего, уездного предводителя и исправника. Ящиков с своими вещами Рубашкин не раскрывал и тут, а жил скромным бивуаком у одной дьяконицы и вслед за этою временною квартирой собирался

разом спокойно поместиться в Конском Сырте, где за долг у арендаторши должны были отобрать и всю ее отстроенную усадьбу. Но время шло, генеральская пенсия проживалась, а дело не подвигалось вперед. Становой и исправник медлили, будто выжидая, не одумается ли сама Перебоченская, откладывая выезд к ней, не желая резко обидеть и притеснить слабую, хотя и действительно упорную женщину. «Да я-то чем виноват? – говорил, улыбаясь, Рубашкин, – и из-за чего я живу здесь в милом вашем обществе?» – «Ну, знаете, все-таки она дама». Посылались, однако, ей понудительные повестки. А тут, как с неба упала, бумага из Киева о смерти настоящего владельца Конского Сырта и о переходе имения в собственность к Адриану Сергеичу. Чиновный мир всполошился было и как будто собрался действовать сильнее. Получено и явлено в местной палате духовное завещание. Палата предписала: «Временному отделению уездного суда немедленно выехать в Конский Сырт, ввести нового наследника во владение; госпоже Перебоченской, не принимая от нее более никаких отговорок, под личную, по всей строгости законов, ответственностью всего земского суда, из того имения предложить в то же время удалиться, а воздвигнутые ею строения, буде таковые точно окажутся, обязать ее беспрекословно снести или сдать владельцу в счет ее долга, на основании оконченного срока аренды». Рубашкин, с сияющей улыбкой, обогнав пакет палаты, привез чиновникам из губернского города это предписание в копии. Явился и подлинник. Чиновники, покуривая папиросы, внимательно смотрели в глаза Рубашкину. Дело даже двинулось было вперед. Ожидая, что все теперь кончится в два-три дня, Адриан Сергеич загодя рассчитался с дьяконицей, послал на отдельной подводе свои вещи вперед, в соседнее с Конским Сыртом вольное село Малый Малаканец, где велел подводчику ожидать себя в какой-нибудь избе, а сам с временным отделением земского суда, в нескольких экипажах, поехал в Конский Сырт. Чиновники ехали почтительно, но с какими-то сдержанными и таинственными улыбками. Исправник ехал в коляске с дворянским заседателем и с стряпчим, становой с письмоводителем и еще с каким-то господином в сером пальто, в своем разгонном фургоне, а Рубашкин отдельно, взяв из города по пути подвезти к Лихому ездившего к благочинному молодого священника из Есауловки, знакомого читателю, отца Смарагда. Подъехав к границе земли Конского Сырта, чиновники остановились. Тут их ожидали собранные повесткою станowego понятые из крестьян соседних и далеких деревень.

Выйдя в поле, временное отделение прочло указ палаты, обошло по указанию законного плана границы Сырта, как имения ненаселенного, указало их владельцу и свидетелям, проверило межевые столбы и пограничные ямы, на спине одного из понятых подписало заранее составленный акт о вводе Рубашкина во владение, отобрало руки понятых, причем за них подписался письмоводитель, и акт этот вручило новому владельцу.

– Только-то? – спросил он. – А сама Перебоченская? Вам ведь предписано немедленно ее вывезти отсюда и обязать ее все строения сдать мне или беспрекословно отсюда снести...

– Как же-с, как же-с! Это будет. Но по неявке сюда самой госпожи Перебоченской, за болезнью, на незаселенную вашу степь, ко вводу вас во владение, в качестве вашей ближайшей соседки, как того требовал закон, мы должны сами к ней поехать. Для этого, чтобы на случай освидетельствовать ее здоровье, мы взяли с собой и доктора; вот он...

Господин в сером пальто раскланялся Рубашкину из фургона станowego.

– Поезжайте, а я пока останусь в ближнем селе, – сказал Рубашкин, – тут ждут и мои подводы.

Нововведенный во владение помещик с священником поехал к околице Малого Малаканца, а чиновники покатили к Перебоченской.

Свои подводы Рубашкин нашел в Малаканце среди улицы. Подводчик ругался на все лады. Никто из жителей не хотел его пустить к себе во двор. Все поселяне были здесь раскольники, и, слышав о чиновниках, каждый отмаливался от подвод генерала.

– Не беспокойтесь, – сказал генералу священник, – здесь меня знают. Я дело улажу. Но позволите ли вы мне быть с вами откровенным, ваше превосходительство?

– Начать с того, что бросьте эти титулы. В чем дело! Будьте со мною запросто.

Священник поклонился и отвел Рубашкина в сторону. Они стояли среди обширной пустынной улицы.

– Извольте... Вы хотите, наконец, узнать всю тайную сторону вашего дела с Перебоченской?

– Хочу.

– Нанимайте здесь скорее квартиру, в этом Малаканце. Суд сделал все по форме – вы введены во владение. Тут хоть из окна будете видеть поблизости свое имение. Даром в городе не станете проживаться.

– Но что же это все значит?

– Жаль... У вас из генеральской пенсии за этот срок до новой получки денег, вероятно, мало что остается. А Перебоченская держит все уездные власти на откуп. Да-с, не удивляйтесь! Вы еще нашей практики хорошо не изучили, как видно, а от петербургской она очень отличается. Дело просто. Исправник – родной племянник Палагеи Андреевны: он начальник уездной полиции и председатель земского суда, по выбору-с дворян; так-то-с... Становой от нее в год (все это открыто знают) получает пятьсот целковых жалованья, кроме харчей и частых подарков: это вдвое против его казенного жалованья. Заседатель от дворянства получил от нее, после первого вашего приезда к ней, шесть пар отборных волов в подарок; я сам видел, как их ее главный гуртовщик, выкресток из киргизов, и погнал к нему за горы, туда вон, в его хутор. Известное дело – близость к нам татарских степей и улусов; смотря на последних, и эта барыня вершит дела, как иной ногайский мурза, прямо начистоту. Знает, что сильнее всего на свете деньги... А заседатель замешан еще в ее же деле и с вашим покойным братцем, как сюда наезжал, по его ходатайству, молоденький чиновничек особых поручений, и Перебоченская дала этому чиновнику пощечину-с...

– Как? Чиновнику особых поручений?

– Да-с. Чему же вы удивляетесь? И еще лучше я вам скажу: чиновник этот, так безвинно обиженный, с заседателем сами умолили барыню скрыть это дело, уехали и более ее не тревожат. Заседатель боится влиятельного губернаторского чиновника, а тот боится, чтоб сама барыня по губернии на бумагах не ославила этого случая, так как у нее есть на это и свидетели. Известно, молодой человек, едва из училища сюда навернулся, и боится. Как же-с! Это дело с нею будет и вам нелегкое! Ее по всему краю здесь знают. Она очень смела, хоть такого жалкого вида, и здесь первая богачка. Гурты ее лучшие в губернии; салом с Москвой торгует, а быков на убой посылает и в Петербург. Что ей стоит сыпнуть деньгами, когда деньги к ней, через поблажку чиновников, сами так легко идут... Скоро вся торговля скотом тут в околотке и далее будет в ее руках.

Рубашкин вздохнул и грустно оглянулся вокруг, как бы выискивая предмет, за который можно было бы ему ухватиться. Деревня, опустевшая от последнего предвесеннего выхода людей для подготовки спуска судов на Волгу, уже поломавшую тогда лед, молчала. Обнаженные от снега окрестности еще не были покрыты травой и уныло отсвечивались серыми, мертвенными холмами и долинами. «А в Петербурге теперь гремят концерты! – невольно мыслил Рубашкин, – щегольские толпы прогуливаются по Невскому и сотни хожалых городских охраняют спокойствие каждого гуляющего. Вот там бы теперь, среди бела дня, крикнуть: сколько бы народу сбежалось на защиту? А тут крикни, так, кроме ветру, никто тебя не услышит!»

– Кто она такая, эта Перебоченская? – спросил Рубашкин.

– Бог ее знает. Жила, говорят, здесь поблизости на десяти или двадцати десятинах, тихая была такая. Брат ваш тогда потерял жену и начинал тут обзаводиться, домишко стро-

ить; скучал, да и капиталу у него не было, негде ему было деться. Она и подъехала к нему, сделала условие, стала разводить и нагуливать тут первые гурты. Свой домик в городе отдала внаймы; людей своих, кроме тех, кто от нее убежал прежде, перевела сюда. Сперва брату вашему хорошо и верно платила. Он переехал лечиться в город. Тут она сошлась, коли слышали, с нашим есауловским, бывшим пастухом и скотником, Романом Танцуром, которого нашему князю потом в приказчики посоветовала взять. Предложила и князю гурты завести. Он согласился. Послал Романа за скотом в Черноморье, а оттуда велел проехать на Азовское море к Ростову. И она с Танцуром туда в фургоне съездила. Да с той поры, как уехал князь, бог весть откуда у нее и деньги взялись. Говорят, что прежде Перебоченская была богата по мужу, но потом все прожила на откупках: откупа с мужем где-то возле Киева держала. Ее пощипали и чиновники, когда муж ее умер за границей; но она выпросила позволение тело его перевезти в свой хутор, забила его в гроб, да и обвертела тело мужа кружевами, блондами и материями, а на таможне это и открыли. Словом, перед арендой Сырта она жила без гроша денег, тиранила своих людей, многих разогнала; хутор у нее даже брали в опеку. А тут вдруг через год разбогатела, съездив в Ростов. Повела она дело хозяйства широко, на тысячи; скоро обстроилась, как видите. Купцы к ней ездят за салом и за кожами. Сама бойню в овраге тут за садом воздвигла. Скот ее узнали даже петербургские мясники. Чиновничество так и льнет к ней. Заводского быка подарила молодому князьку из беглых татар, здешнему уездному предводителю, на хозяйство. И как вам сказать, не согрешить? Одни говорят, что ей дал сначала и теперь тайно дает на обороты деньги из есауловской экономии наш приказчик Танцур. А другие... будто он с нею, ездив в первое-то время вместе за гуртами для князя и для нее, где-то, не то в Черномории, не то на Азовье или на Дону, купил тайком большой запас фальшивых ассигнаций, да здесь-то мало-помалу, лет за десять они и спустили их и разменяли. Во всяком же случае скажу вам: ясно одно, что Роман Танцур в большой дружбе с вашею противницей и, как полагать надо, делит с ней или прежде делил все барыши пополам. Только и он обожжется: на такой камень наскочил, что не одного его разобьет...

Рубашкин медленно и молча ходил с священником взад и вперед по улице. Обоим было тяжело продолжать разговор. Они подошли к овражку за околицей и сели на обрыве.

– Что же мне делать теперь? – спросил Рубашкин.

Священник вынул кисетик, набил короткую трубочку крепчайшим турецким табаком и закурил.

– Позволяете курить? Не обижает это вас, что священник курит?

– О, сделайте милость!

– Когда у меня горе, я этим только лечусь. А горя у меня довольно: бедность, жена все хворает... Но вы – другое дело. Попробуйте еще обратиться лично или письменно к губернскому предводителю дворянства, а наконец и к губернатору. Все похвальбы Перебоченской – вздор: у нее не может быть никаких актов. Она хочет только, как иной дикарь татарин, в мошенничестве время выиграть. Особенно ей нужно для нагула скота это лето. На бумаге вы будете считаться владельцем земли, а на деле будет она.

– Я сам заведу скот, пушу в поле.

– А она сгонит его, заграбит, велит, наконец, стрелять по нем из ружей. И это в нашей глуши бывает!... Вы еще не знаете... Татарин за рекой, недалеко...

– Нет, не может быть! Она одумается...

– Увидите! Да вот едут господа чиновники. Прощайте! Я пойду пока вон в ту избу, чтобы вы с ними объяснились без меня! Пусть она не знает о моем к вам участии...

Чиновники подъехали, почтительно окружили генерала и подали ему акт освидетельствования Перебоченской. Оказалось, что она одержима таким опасным недугом, что не только не могла, по слабости и безнадёжности здоровья, оставить своего дома и съехать тотчас с чужой земли, но даже не могла выслушать приказания об этом, не подвергаясь опас-

ности скоропостижно заболеть еще более и даже... умереть. Акт был составлен уездным лекарем и подписан всеми наличными чиновниками.

– Итак, поздравляем вас с имением! – двусмысленно сказал исправник, любезно раскланиваясь с Рубашкиным. – А насчет Палагеи Андреевны надо подождать, пока выздоровеет. Что же вы теперь, генерал, куда?

– Да поселюсь здесь; стану хозяйничать пока на этой земле, хоть без усадьбы.

– Здесь? – спросил исправник и оглянулся с удивлением, – в Малаканце? на квартире у мужика?

– Именно здесь... Отчего же не нанять квартиры тут? Земля моя под боком, это будет как на даче!

– Да вы, ваше превосходительство, находчивы необыкновенно! Отличная выдумка...

– Благодарю за комплимент!

– Желаем вам успеха! – прибавили чиновники.

– Очень благодарен.

Временное отделение уехало. За пятьдесят шагов за околицей Рубашкину послышался со стороны уехавших довольно явственный хохот. Адриан Сергеич, сложа вводный лист и копию медицинского акта с донесением станового о причине нового невыезда Перебоченской из Конского Сырта, грустно побрел в избу, где ожидал его священник. Новые знакомцы еще поговорили.

– Как бы мне, отец Смарагд, нанять в самом деле здесь в Малом Малаканце квартирку? Хоть оно и странно, но что же делать?.. Во-первых, вы мне очень понравились, и я рад такому соседу, а во-вторых, начинается весна. Здесь у Поволжья будет все-таки лучше жить, чем в уездном городишке, пока все более объяснится. Да оно и дешевле. Я в городе закуплю припасов; ящики мои с вещами, не разобранные до сих пор ни в полтавском хуторе, ни в городе с отъезда из Петербурга, я разберу здесь. Кое-как устрою, скрашу свою конурку. Будем видаться, гулять вместе. У меня есть недурное ружье; вы любите рыбу ловить. А тем временем я напишу еще кое к кому из высших властей...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.